



Александр Житинский
Потерянный дом,
или Разговоры с милордом
Роман. Авторская редакция



Александр Житинский

**Потерянный дом, или
Разговоры с милордом**

«Геликон Плюс»

1987

УДК 833.161.1
ББК 844(2Рос=Рус)6

Житинский А. Н.

Потерянный дом, или Разговоры с милордом /
А. Н. Житинский — «Геликон Плюс», 1987

ISBN 978-5-6040737-2-8

«Книга с блистательно найденной метафорой была венцом самого сложного и многосоставного периода советской истории, пределом той сложности, которой достигла советская литература; она всегда была глуховата в метафизическом смысле, а Житинскому удалось невозможное — советский религиозный роман, религиозное размышление о том, почему коммунистическая идея обречена и какова ее дальнейшая судьба». Дм. Быков

УДК 833.161.1
ББК 844(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-6040737-2-8

© Житинский А. Н., 1987
© Геликон Плюс, 1987

Содержание

Предисловие	6
От автора	11
Часть первая. Переполох (<i>Allegre vivace</i>)	12
Подступ первый «О клапанах»	12
Подступ второй «О квадратном метре»	15
Подступ третий «О кооперации»	19
Подступ четвертый «О чудесном вознесении пивного ларька»	22
Глава 1. На крыльях любви	26
Отступ первый «О лоскутных одеялах» и несколько страниц пролога	32
Пролог. Над городом	34
Глава 2. Не выгуливайте собак ночью!	36
Глава 3. Возвращение блудного сына	42
Глава 4. Свидетельства очевидцев	53
Глава 5. Смятение	60
Глава 6. Фамилия Демилле	72
Глава 7. Незарегистрированный	80
Глава 8. Жертва телекинеза	89
Глава 9. Мать и сын	97
Глава 10. Майор Рыскаль	104
Конец ознакомительного фрагмента.	115

Александр Житинский

Потерянный дом, или

Разговоры с милордом

© Житинский А. Н. (наследники), текст, 1987

© «Геликон Плюс», макет, 2019.

Предисловие

О том, что Александр Николаевич Житинский пишет роман, знали все – то есть все, кому это было важно. У него были специфические отношения с читателем, они и сохранились в прекрасной неизменности: с первых публикаций, еще поэтических, был сравнительно узкий, но абсолютно преданный круг читателей, в которых он по-снайперски попадал, которым он был во всем созвучен, которые могли больше или меньше любить те или иные вещи, но немедленно читали всё, что он публиковал. Пожалуй, больше всего почитателей ему добавила «Лестница», первая крупная вещь, напечатанная лет через семь после написания, когда ее куски уже начали передавать, кажется, по «Свободе». Что так привлекало в Житинском – трудно сформулировать, он сам, вероятно, не взялся бы – поскольку вообще не слишком копался в собственном творческом процессе, да и в собственной душе. Можно дать объяснение чисто психологическое, в одном из самых автопортретных, откровенных стихотворений он прямо объяснил свой тип, людей своего «карасса» – этот воннегутовский термин он любил и часто применял.

Я с радостью стал бы героем,
Сжимая в руке копьёцо.
Могло бы пылать перед строем
Мое волевое лицо.
Слова офицерской команды
Ловлю я во сне наугад,
Пока воспаленные гланды,
Как яблоки, в горле горят.

Я стал бы героем сражений
И умер бы в черной броне,
Когда бы иных поражений
Награда не выпала мне,
Когда бы навязчивый шепот
Уверенно мне не шептал,
Что тихий душевный мой опыт
Важней, чем сгоревший металл.

Дороже крупица печали,
Соленый кристаллик вины.
И сколько бы там ни кричали –
Лишь верные звуки слышны.
И правда не в том, чтобы с криком
Вести к потрясенью основ,
А только в сомненье великом
По поводу собственных слов.

Молчи, сотрясатель Вселенной,
Астролог божественных душ!
Для совести обыкновенной
Не грянет торжественный туш.
Она в отдалении встанет
И мокрое спрячет лицо.

И пусть там герои буюнят,
Сжимая в руке копьцо!

Очень хорошо помню, как он читал мне это стихотворение в ответ на какой-то детский мировоззренческий вопрос, какими я часто его мучил, – колдуя над кофе, отвлекаясь, гремя ложками, без малейшей патетики, скорее себе под нос. Я совершенно не убежден по нынешним временам, что сомнение великое по поводу собственных слов так уж благотворно, – и так уж интеллигентские наши сомнения позволили слишком многим убогим и самоуверенным людям завладеть трибунами, миллионами, кнопками и прочими инструментами подавления. Надо уметь называть вещи своими именами. Но Житинский при всей своей мягкости именно это и умел, и когда я однажды сказал, что такую позицию можно принять и за слабость, немедленно ответил (он, видимо, над этим думал): «Я человек не слабый, а мягкий». И пояснил, что разница проста: слабый не может заставить себя – хотя иногда заставляет других. Мягкий может сделать с собой что угодно, и в этом его сила.

Были, конечно, и другие параметры, по которым он опознавался: свобода, вольный полет богатой и веселой фантазии, ирония, замечательное владение самыми разными стилями – он легко стилизовался и под петербургский модерн, и под старомодную страшную сказку, и под фольклор многочисленных НИИ. В авторской речи Житинского была восхитительная естественность, ни тени натужности, то особое изящество, которое воспитывается только поэтической школой (а школа в этом отношении была у него серьезная, он учился у Глеба Семенова и с гордостью показывал его пометки на своих машинописных сборниках). Читатель сразу на него подсаживался – кроме тех случаев, не столь уж редких, когда испытывал столь же резкое отторжение; в отношении к Житинскому не было середины – либо «это совершенно мое», либо «это вообще не пойми что». Сходным образом, кстати, реагировали на Валерия Попова, который все же был – как бы сказать – несколько более общеприят. То есть его принято было знать, а Житинский был вовсе уж паролем только для своих. Я не могу даже сказать, что «Лестница» привела меня в чисто эстетический восторг. Как раз критику там было бы к чему придраться, но я прочел ее совершенно не как критик. Мне было лет 14, она появилась в «Неве», которую выписывали дома, и вне зависимости от того, понравилась она мне или нет, я понял, что буду у этого автора читать все, что он напечатает. С чем это сравнить? Бывает город, который нравится с точки зрения архитектурной или климатической, а бывает улица, на которой хочешь жить, и понимаешь, что рано или поздно будешь жить на ней, потому что она такая, как надо. Ну потому что на ней тени так лежат, или в окне ближайшего дома сидит правильный кот, или девушка такая идет навстречу с собакой, и все это в нужный час дня.

За год я прочел «Снюсь» – повесть, от которой пришел в совершенный восторг и которую поныне считаю высшим его до-романным достижением, – «Хеопса и Нефертити», «Арсика», потом достал сборник «Голоса», потом добыл в Горьковке (поступив на журфак) сборник «От первого лица», потом сборник стихов «Утренний снег»... Рассказ «Стрелочник» я так часто читал тогдашним возлюбленным, что выучил наизусть. Короче, годам к восемнадцати я был продвинутым фанатом Житинского, у меня было несколько таких же друзей, и как-то само собой предполагалось, что сейчас он пишет роман. Каждый советский писатель должен был написать роман, и не обязательно советский: по рассказам и особенно фантастическим повестям Житинского – по каким-то обмолвкам, вроде «Невозможно быть живым и невиноватым» в «Арсике», – чувствовалось, что он человек богатый, что у него свой мир, свои драмы, что видим мы только участки огромного холста, который он рано или поздно заполнит. Житинский вообще рожден был для вещей «большого дыхания», барочного строения, стернианской свободной композиции – даже «Записки рок-дилетанта», печатавшиеся в «Авроре», на глазах превращались в роман, даже его ЖЖ, если издать его полностью, выглядит масштабным автобиографическим повествованием. Может быть, в нем иногда угадывался моралист, человек с

мировоззрением, который хочет и должен обращаться в свою веру, хоть и с предельной ненавязчивостью. В общем, ясно было, что он вошел в лучший писательский возраст и пишет главную книгу, – так что когда я всеми правдами и неправдами выбил в «Собеседнике» командировку в Ленинград и поехал брать у Житинского интервью (с ним познакомился Михаил Соколов и дал мне его телефон), первый же мой вопрос был: «А вы, наверное, роман пишете?»

Я с ним тогда довольно быстро сошелся, и не потому, что хорошо знал тексты (хотя он, правду сказать, удивился – его сын, мой ровесник, меньше интересовался его творчеством), а потому, что у нас в самом деле нашлось много общего и как-то он вообще немедленно располагал к себе. Житинский был человеком большого обаяния и той замечательной прямооты в разговоре, которая ничего общего не имеет с простотой: он сразу выходил на главные темы. Помню, я его году в восемьдесят седьмом, уже служа в армии, спросил о перспективах перестройки; он сразу ответил: «Рано или поздно они упрутся в Бога», а для меня это было тогда совсем неочевидно, и только лет пять спустя я подивился его правоте. Про роман он сказал, что написал его в духе Стерна и как бы в диалоге с ним (я радостно подпрыгнул, потому что мы только что прочитали в рамках курса зарубежки «Сентиментальное путешествие»), что книга вышла непропорционально большой и что издательская его судьба туманна – «Отнес в “Неву”, но они не знают...» Тогда же он сказал, что скоро будет выступать в Москве на вечере «Невы» и сможет меня провести.

Попасть на тот вечер было действительно непросто, потому что там были Аркадий Стругацкий (читавший главу из «Хромой судьбы»), Шефнер, Гранин, – весь цвет питерской литературы; Житинский на этом фоне отнюдь не потерялся, хотя и махал рукой, повторяя: «Провал». Читал он семнадцатую главу – «Воздухоплаватели и воздухоплавательницы». По ней уже было ясно, что роман – по ощущению праздника и катастрофы, сопровождавшему всю вторую половину восьмидесятых, – получился исключительно ко времени. На том же вечере главред «Невы» Борис Никольский сообщил, что роман журналом принят, но вызывает примерно такое же чувство, как рояль, который надо внести в малогабаритную квартиру: то ли рояль распилить, то ли стену ломать.

Тогда путь большой книги к читателю был долог. Я уже занимался у Владимира Новикова в семинаре литературной критики, когда Новиков сообщил нам, что только что написал внутреннюю рецензию на «Потерянный дом», и даже дал мне ее почитать; книгу он в целом горячо одобрял, но писал, что фраза «Пива нет» в качестве финала столь масштабного повествования его не устраивает, и Житинский согласился. (По-моему, как раз такая фраза в финале особенно уместна, и здесь читатель ознакомится с авторской версией.) «Нева» в конце концов согласилась отдать под роман огромную журнальную площадь в четырех последних номерах 1987 года – книгу считали потенциальной сенсацией, она в самом деле была по тому времени храбра, и не публицистической журнальной храбростью, а отвагой прямого разговора о главных вещах. Разговор этот тогда по разным причинам не состоялся, но он неизбежен, и сейчас для него, кажется, самое время. «Потерянный дом» был напечатан не совсем вовремя – тогда все захлебывались именно публицистикой, а не фантастикой, а худлит если и читался, то в основном эмигрантский либо внезапно разрешенный, в прошлом подпольный. Актуальная литература читалась немногими, но и на фоне тогдашней журнальной прозы роман Житинского попал ровно тому читателю, которому был предназначен: мы знали этого автора и ждали его Большую Книгу. Житинский, с которым я тогда уже виделся более-менее регулярно – я служил в армии в Питере, и где-то раз в месяц случались увольнения, – сам удивлялся, показывая мне письма, преимущественно женские. Там ему не то чтобы признавались в любви – просто в его стилистике, с его интонациями там объясняли, как важна и своевременна оказалась эта книга, какие глубокие струны она задела и так далее.

Очень хорошо помню, как в предновогоднюю ночь 1987 года стоял я на тумбочке дневального, в наряде по роте, в каковые наряды летал довольно часто, и, пользуясь предново-

годней халявой, читал ночью последний, декабрьский номер «Невы» с финальной порцией романа; и, читая ее, рыдал неудержимо, крупными читательскими слезами. Должен сказать, что я и теперь, перечитав роман в самом полном виде, несколько раз от души над ним плакал, и эта реакция кажется мне нормальной. Как пояснил Александр Жолковский, читатель плачет не от грусти и даже не от жалости, не от обычной читательской эмпатии, а от блеска, с которым решена авторская задача, от совершенства. Мало в русской прозе последних пятидесяти лет таких мощных, симфонических финалов, как в «Потерянном доме»: эта книга была выше всего, что Житинский написал до сих пор, оказалась самой тяжелой штангой, которую он рожден был поднять, и как бы заменила собой, целиком вобрала авторскую личность. Недаром при второй встрече с Ленкой, очень красивой рыжей женщиной, которая тогда же, словно в награду, появилась в его жизни и скоро стала его третьей женой (а сейчас издала эту книгу), он просто вручил ей четыре номера «Невы» – и мог о себе больше ничего не рассказывать: он весь туда поместился.

Отдельной книгой «Потерянный дом» вышел в 1989 году, когда всем было уже вовсе не до литературы, тем более не до серьезной. Тогда же, уже после дембеля, я ознакомился дома у Житинского с единственным полным экземпляром романа, который кто-то из таких же фанов переплел в три разноцветных тома. Житинский относился к своим черновикам не особенно серьезно и не попытался в полном издании восстановить все купюры, и мне – я честно об этом сказал – тогда даже больше нравился сокращенный вариант: в полном были лишние линии, только отвлекавшие читателя. Житинский не согласился: он сказал, что нечто все-таки ушло. Пожалуй, думаю я сейчас, полный «Потерянный дом» действительно масштабнее, серьезнее и притом свободнее: в журнальном варианте он более дисциплинирован, логичен и причесан, а теперь наконец приходит к читателю таким, каким был: как разросшийся, ломящийся сквозь ограду сад.

«Потерянный дом» представляется мне главным русским романом позднесоветской эпохи. Написанный на высшей точке авторских возможностей, на выходе из глубокого личного кризиса, роман призван был не только спасти автора (с этой задачей он справился), но и остановить распад общества (а это и не могло получиться, но, как говорит БГ, всех спасти нельзя, а нескольких можно). Это не просто панорама позднего СССР, не просто парад всех его главных героев, которые по большей части исчезли или переродились, – это последняя попытка построить дом для страны, подарить ей тот образ всеобщего жилища, в котором все чувствовали бы себя на месте и могли еще временами испытывать общность. Роман о перелетевшем доме оказался пророческим – после первоначального энтузиазма в стране настали раздор и запустение, ровно как в многоэтажном доме архитектора Демилле, который он так плохо привязал к местности. Дом в самом деле оказался потерян, и возвращение в него – тоже по предсказанию – оказалось совсем не таким, каким ожидалось, отнюдь не триумфальным и даже не радостным. Получилось – опять-таки в полном соответствии с авторским пророчеством, – что мы давно живем в том же самом доме, не чувствуя, не понимая этого, попросту не узнавая его. А когда он оказался тем самым, мы испытали скорей тоску и разочарование, чем радость возвращения, потому что хотели и заслуживали после всех скитаний чего-то другого.

Этот роман не с чем сравнить, разве что с «Пушкинским домом» Битова и с «Кошкиным домом» Синявского, где решались те же задачи – построение нового образа страны; думаю, однако, что книга Житинского – при всей ее хваленой неприязнительности, при отсутствии у автора толстовских амбиций и подчеркнутой самоиронии его тона – масштабней и значительней и этих двух романов, и всего, что появилось в русской литературе с советских времен. Веселая и трагическая эпопея поэта и фантаста оказалась самым полным, исчерпывающим, насмешливым и сострадательным описанием советского проекта, его финала, славы и позора. Думаю, появление этой книги – самый ценный результат последнего советского десятилетия, славного многими шедеврами; и все-таки даже на их фоне «Потерянный дом» – многоквартир-

ный, многоэтажный, богатый и виртуозный – выглядит высоткой. К этому роману оказалось нечего добавить: последняя законченная книга Житинского «Плывун» – продолжение «Лестницы» 40 лет спустя, и опять с архитектурной метафорой – был всего лишь еще одной, пусть и весьма талантливой, версией «Потерянного дома». Житинский десять лет молчал, занимаясь то роком, то Интернетом, то издательством (и был успешен в этом деле, как в любом, потому что руки у него были золотые и вкус абсолютный), но писательское молчание было его скрытой травмой. Молчал он вовсе не потому, что разочаровался в литературе, хотя вправе был ожидать и более бурной реакции, и нового статуса; те, кому роман был адресован, его прочли, полюбили и прочно зачислили в список главных книг. Причина его молчания была именно в том, что к его роману до сих пор нечего добавить, – и сегодня «Потерянный дом» отнюдь не выглядит анахронизмом. Продолжая любимую автором архитектурную метафору, признаем, что новые технологии строительства вполне себе появились, но никто еще не выдумал столь изящного, вместительного и вместе с тем компактного чертежа.

Книга с блистательно найденной метафорой была венцом самого сложного и многосоставного периода советской истории, пределом той сложности, которой достигла советская литература; она всегда была глуховата в метафизическом смысле, а Житинскому удалось невозможное – советский религиозный роман, религиозное размышление о том, почему коммунистическая идея обречена и какова ее дальнейшая судьба. Все это осталось неотрефлексированным и непроговоренным, часто заболтанным – потому что не всем хватало той прямоты, с которой Житинский выходил на тему. Так что сегодня «Потерянный дом» имеет, пожалуй, даже больше шансов на читательское понимание – прежде всего потому, что новое поколение читателей уже выросло и оно далеко не так примитивно, как простые люди девяностых, вдруг утратившие способность видеть мир в трех измерениях. Житинский, кажется, получил наконец не десятки, а тысячи тех читателей, для которых его книга спасительна.

Я счастлив, что единственный уцелевший полный экземпляр романа превратился в тысячу полновесных экземпляров нового издания. Именно с него будет когда-нибудь печататься «Потерянный дом» в серии «Литературные памятники» – с подробным научным комментарием. Там будет и большая статья о метафоре дома в советской прозе, и разъяснение многих бытовых деталей, и даже отдельная статья о том, почему «Пива нет» – самый точный вывод из советского XX века.

Надеюсь до этого издания дожить и желаю вам того же.

Дмитрий Быков

От автора

Благодарим Андрея Олеговича Иванова, по самиздатовскому трехтомнику которого была восстановлена авторская редакция этого романа

Этот роман я писал в соавторстве с воображаемым (но не вымышленным!) собеседником. Разговоры наши часто казались весьма далеки от сюжета вещей, и запись их можно было бы исключить из текста романа. Однако по зрелом размышлении мы решили сохранить наши беседы в тексте, дабы дать полное представление не только об истории, составившей сюжетную основу романа, но и о самом процессе его создания, доставлявшем нам немало веселых и горьких минут.

Мы должны честно предупредить, что тем читателям, которые привыкли видеть в литературе прямое отражение жизни, не следует даже браться за чтение: они испытают разочарование. Известное удовлетворение от чтения, возможно, испытает лишь та категория читающей публики, коей не страшны заведомые нелепицы и которая снисходительно относится ко всякого рода литературной игре, так редко встречаемой ныне на страницах наших достопочтенных журналов.

Что же касается нас, то мы этим предуведомлением сняли с себя всякую ответственность за дальнейшее и не без страха ввергаем себя и добровольного читателя в неподвластную (увы!) стихию выдумки и легкого назидательного развлечения.

Из последних наших слов следует, что мы с соавтором еще не перечитывали сочиненного нами творения и сделаем это вместе с нашим благосклонным читателем, с величайшим вниманием следя за его живой непосредственной реакцией.

Часть первая. Переполох (*Allegre vivace*)

Я сделаю все, что смогу, но смеяться, милорд, я буду, и притом так громко, как только сумею...

Л. С.

Подступ первый «О клапанах»

Вот! С этого и надо было начинать!

Дело в том, что я трижды принимался писать этот роман, но далее нескольких страниц не продвинулся. Погода ли была тому виною, скверное расположение духа, отсутствие времени или что там еще, но роман не желал увидеть себя на бумаге, несмотря на то что он – уверяю вас! – давно написан и прочно занимает в моей голове центральное место.

Примерно такое же положение (я говорю о прочности) занимает и дом, стоящий ныне на Петроградской стороне, неподалеку от Тучкова моста. Я могу сообщить точный адрес.

Дело было в непоправимой серьезности, с какой я намеревался писать. «Устраняюсь! – шептал я себе. – Автора не должно быть видно, даже если он и живет в этом доме. Литературную воспитанность следует поставить во главу угла (я долго искал этот угол), с тем чтобы, не торопясь, предъявлять читателю героев, оставаясь самому в тени, как и подобает скромному автору. Не зря тебя уже упрекали в том, что ты к месту и не к месту (последнее чаще) выскакиваешь на сцену и начинаешь строить рожи...»

Так я уговаривал себя, в то время как самому хотелось выскочить на сцену с очередной рожей и под свист и улюлюканье читателей попытаться изобразить нечто.

– Нечто?

– Не торопитесь, не торопитесь!

Сначала послушайте некоторые размышления о клапанах, кои должны быть открыты, чтобы на свет родилось нечто.

– Нечто?

– Тьфу ты, черт, так мы никогда не сдвинемся с места!

По моим наблюдениям, каждый человек обладает клапанами, подобно четырехтактному двигателю внутреннего сгорания, с тем отличием, что у человека их несравненно больше и расположены они не столь симметрично, в разных уголках души. Для нормальной работы двигателя клапаны должны быть поочередно открываемы посредством так называемого кулачкового механизма. А если уж ты решил излить всю душу, то будь добр открыть и все клапаны... С этими словами я расстегнул пуговицы на пиджаке, снял его, расстегнул пуговицы на рубашке, надеясь таким образом помочь открытию клапанов души. Они не открывались. Перед моими глазами все время маячили судьи: читатели, критики, литературоведы (их особенно не люблю), редакторы (люблю их безгранично), цензоры (никогда не видел), издатели и, наконец, наборщики в типографии, которым предстоит когда-нибудь буковку за буковкой набрать этот текст.

– Вы читали Эмиля Золя?

– Нет, не читал и читать не собираюсь.

Снисходительно-сочувствующая улыбка одной из моих редакторш не дает мне покоя! Она несколько месяцев донимала меня Эмилем Золя, которого я безгранично уважаю, но не читал (видит Бог!), что и дало ей право улыбаться.

– Зато я читал Стерна. Каждый читает то, что ему нравится.

– Ага, попался!

Да, милые критики и литературоведы (скулы сводит при произнесении этого слова), я сам складываю оружие – отстегиваю шпагу, вынимаю обойму из пистолета, бросаю все это к вашим ногам и поднимаю обе руки кверху. Прошу не ломать голову: на что? на что, Господи, это похоже?! Да на Стерна же, черт побери! Совсем не на Эмиля Золя!

Учтите, я сам это сказал. Добровольное признание смягчает меру наказания.

Кстати, эпиграф к части первой я взял из письма Лоренса Стерна к одному высокопоставленному лицу, которое упрекало писателя в неподобающей его духовному сану веселости. Для несведущих: Лоренс Стерн был по образованию священником – ну а я тоже не родился сочинителем!

Что же подделаешь, если среди авторов наряду с серьезнейшими их представителями (наподобие Эмиля Золя) встречаются – ни к селу ни к городу – шуты гороховые, насмешники, чтоб они провалились, для которых вся жизнь – сплошная игра и развлечение. Они прожить не могут, чтобы не позубоскалить, не вырядиться в колпак и не поплясать на невинных костях современников. Современники им этого не прощают.

Раздумывая таким образом, я приподнимал ногтем то один, то другой клапан – из-под них с жалким свистом вырывались струйки пара – я был похож на органиста – и напускал на себя повышенную серьезность, мечтая даже почитать Эмиля Золя (дался мне этот Эмиль Золя!), чтобы примкнуть к подавляюще серьезному большинству современников и написать назидательный роман на морально-этическую тему, в котором все морально-этические точки были бы расставлены над морально-этическими i... – и ни одна не была бы перепутана. Я почти поверил в то, что смогу это сделать. Глупец!

Как вдруг в один прекрасный вечер, находясь в полном одиночестве рядом с бутылкой вина и посматривая на эту бутылку несколько виновато, ибо не в моих привычках пить одному, я, все еще не веря в возможность полноценного питья в одиночку, потянулся за штопором, ввинтил его в пробку, дернул... дернул сильнее... Раздался невыразимо почему-то приятный звук – пык! – и бутылка открылась. Стерн лежал на тахте, уткнувшись в плед лицом (то есть обложкой). Я решил пить со Стерном. Я сказал:

– Учитель! Обстоятельства сложились так, что мы остались с вами вдвоем. Еще они так сложились, что вам было угодно родиться на двести с лишком лет раньше. Я ни в коем случае не укоряю вас за то, но хочу сказать, что ваши книги мешают мне существовать. Что делать в таком случае?

Стерн помалкивал.

– Не писать? Но уж вам-то должно быть известно, что страсть к писательству хуже любой другой страсти и не поддается излечению. Писать, как Бог положит на душу? («Именно», – отозвался Стерн, не поднимая обложки от тахты.) Но тогда меня обвинят в плагиате, вторичности, третичности, четвертичности и архаичности, поскольку клапаны моей души, будучи открыты, источают потоки и струйки, чрезвычайно похожие на ваши, милорд.

Я выпил полстакана вина (это был венгерский «Токай»), сделав предупредительный жест. На мою учтивую речь Стерн ответил следующее:

– Мне сдается, вы хотите продлить игру, начатую мною двести лет назад. В таком случае не советую, потому что вы будете иметь неприятности.

– Я согласен их иметь, даже если размеры неприятностей будут соответствовать размерам сочинения, – сказал я.

– Какой же роман вы намереваетесь сочинить?

– Длинный, – сказал я.

– Ответ совершенно в духе шендианства! – воскликнул Стерн. – Так что же вам мешает?

Я приподнял бутылку «Токая», придал ей горизонтальное положение и, медленно наклоняя, добился того, чтобы золотистое вино заполнило мой стакан. Пока оно лилось, я успел подумать о:

- 1) клапанах;
- 2) плохой погоде;
- 3) количестве страниц в моем романе;
- 4) не явившемся ко мне на встречу приятеле (приятельнице);
- 5) тех нескольких страничках, что уже написаны и лежат в специальном закуточке, где я храню на всякий случай начатые сочинения с намерением когда-нибудь их продолжить, но так и не продолжаю, потому что если сочинение не идет своим ходом, то нет никакого смысла тащить его на аркане – получится издевательство над самой идеей сочинительства;
- 6) литературных журналах;
- 7) том, что в них печатается;
- 8) нашем доме;
- 9) собственном невежестве;
- 10) способах полета тел тяжелее воздуха, а почему – это будет понятно позже...

Короче говоря, я успел подумать о десяти вещах одновременно, а кроме того – о полной невозможности добиться порядка в собственных мыслях. Огорченный их хаотичностью, я протянул левую руку к стакану, в то время как правая возвращала бутылку в вертикальное положение и ставила ее на стол; обхватил стакан пальцами, приблизил ко рту – если я буду писать таким способом, роман наверняка получится длинным! – и выпил.

Тут я почувствовал, что клапаны открываются, вернее, вылетают из своих гнезд, как пробки из шампанского. Я едва успел добежать до пишущей машинки, сунуть в нее чистый лист бумаги и написать: «Вот! С этого и надо было начинать!»

Подступ второй «О квадратном метре»

Исходя из того, что «Бог любит Троицу» – а почему, неизвестно, – я предполагаю, что у меня будет три подступа к роману, подобно тому, как я трижды начинал его писать и только на четвертый раз путем не совсем корректных ухищрений заставил клапаны покинуть насиженные места. Роман тронулся, поехал, поплыл, теперь только успевай его записывать!

Сейчас я хочу кроме вопроса о клапанах, которые, слава богу, уже открыты, исследовать вопрос о квадратном метре.

– Мы займемся геометрией? Чудесно!

Замечали ли вы в некоторых районах нашего быстро растущего города странные скопления людей, с завидным постоянством собирающихся в одном и том же месте? Место это, как правило, ничем не примечательно: это может быть сквер, пустырь, бульвар и тому подобное. Самое удивительное, что скопление это никак не зависит от внешних обстоятельств. На моих глазах сквер, в котором существовало одно из таких сборищ, был разрыт и завален трубами, вдобавок там стали рыть яму под фундамент будущего дома.

– И что же?

Скопление продолжало образовываться в яме среди труб. Строителям пришлось прекратить работы и перенести усилия на другой объект, иначе я никак не могу объяснить, почему яма и трубы существуют без всякого движения вот уже третий год.

Если в месте скопления случится расти дереву, торчать столбу или тянуться забору, то – несчастная их судьба! – они вмиг обрастают наклепанными на них бумажными прямоугольничками, на которых можно прочесть целые повести о семейных неурядицах, алчности, глупости и поисках счастья. Там можно запастись адресами и телефонами прекраснейших – со всеми удобствами, туалет отдельно, соседи превосходные – квартир и комнат, кои по неизвестным причинам срочно меняются на равноценные, а чаще на несколько большие по площади. Здесь царит квадратный метр, это его вотчина.

Сам по себе квадратный метр ничем не замечателен, его может изготовить каждый. Проведем на полу мелом отрезок прямой длиной в метр и, если мы не упрямся в стенку, из его конца под прямым углом проведем еще такой же отрезок. Теперь из оставшихся свободных концов обоих отрезков протянем параллельные им линии, пока они не пересекутся. Получившаяся на полу фигура, носящая название «квадрат», по площади равна квадратному метру. У вас достаточно места, чтобы отойти и полюбоваться ею? Если из вашей квартиры вынести мебель, то можно расчертить весь пол такими квадратами, после чего, подсчитав их число, твердо установить, чему же равняется ваша жилплощадь.

– Между прочим, милорд, на всех пятистах шестнадцати страницах вашего романа, на чудесных, остроумнейших и забавнейших страницах, полных рассуждений о прямых и кривых линиях, пуговичных петлях, усах и носах, я ни разу не встретил упоминания о жилплощади. Позволительно будет спросить: где живут ваши герои, Учитель?

– Они живут в Шенди-холле.

– Ну вот! Я так и думал. А у нас совсем другие проблемы. Обитателям вашего Шенди-холла и в голову не приходило, что какой-нибудь квадратный метр в гостиной перед камином может служить предметом страсти и гордости, предметом купли и продажи.

– Что вы говорите?

– Да, предметом купли и продажи, ибо квадратный метр обладает стоимостью, он имеет цену.

– У меня это в голове не укладывается.

– У меня тоже.

Посмотрим еще раз внимательнейшим образом на квадрат, нарисованный нами на полу комнаты. Представьте себе, что его цена... Ну, скажем... Да вы прекрасно знаете и без меня, что он стоит сто рублей.

– Почему сто рублей? Почему не двести? Что, что в этом квадрате стоит сто рублей? Пол? Да, пол паркетный, я охотно это признаю, но будь он сделан из мрамора, он стоил бы в десять раз дороже. Значит, не пол. Что же тогда?

– Площадь!

– Но не удивительно ли говорить о стоимости площади? Это все равно что завести ценник на солнечную погоду, чистый воздух и поцелуй женщины.

У меня есть соображение относительно конкретной стоимости квадратного метра. Уверен, что вы не отгадаете. Я далек от мысли, что сто рублей были взяты с потолка (это же стоимость пола в конечном итоге!) или были назначены по причине удобства запоминания и краткости. Причина глубже и научнее. Для ее объяснения нам придется еще немного поработать.

Возьмем тот же мел и расчертим наш квадрат (вы еще не устали?) на маленькие квадратики. Для этого нам придется провести 99 линий в одном направлении и ровно столько же в другом. У нас получится 10 000 квадратиков площадью в один квадратный сантиметр каждый. Какая густая сеть! Мы славно потрудились. Но я забыл предупредить, что нам понадобятся копеечные монетки, и в большом количестве. Они нужны для определения стоимости квадратного метра. Так что прошу запастись десятью килограммами медной мелочи по одной копейке, а теперь... Готово? Раскладывайте, раскладывайте их по квадратикам!

Пока вы занимаетесь этой работой, я расскажу вам одну историю о товарищеском суде, никак не связанную с задуманным романом и происшедшую задолго до описываемых в нем событий, хотя и в этом же доме.

Вот, Учитель, полюбуйтесь – товарищеский суд! Готов спорить, или – как вам больше нравится – держать пари, что в доброй старой Англии не было товарищеских судов.

– Потому что не было товарищей!

– Конечно, милорд, в то время как у нас все – товарищи и друзья, так что товарищеский суд правильнее было бы назвать дружеским судом, а что может быть приятнее дружеского суда?

– Совершенно с вами согласен.

Случилось так, что один из друзей однажды по причине рассеянности забыл завернуть кран в ванной комнате, в результате чего быстро прибывающая вода заполнила ванну, перелилась через край, побежала по полу, юркнула в щели – увы! в паркете были щели – и пролилась на головы других друзей, живущих ниже.

– Из этого я заключаю, что первый друг жил где-то наверху.

– О да, милорд, он жил на девятом этаже, так что ему удалось успешно затопить восьмой, седьмой и шестой этажи совершенно чистой, замечу, водой, в которой не было и следов мыла и грязи. Однако это обстоятельство не было учтено нижними друзьями, которые, явившись к верхнему в полном составе, вызвали его на откровенный дружеский разговор и предупредили, что рассеянность позволительна лишь в частных делах, но не общественных.

– Значит, протечка была общественным делом?

– Именно так, милорд. После чего верхний друг исключительно из дружеских побуждений выбелил те места на потолках своих нижних друзей, которые слегка потемнели от его воды (я говорю о потолках, разумеется!), и инцидент был исчерпан, если можно назвать инцидентом разговор нескольких друзей.

Однако рассеянность не так просто вылечивается, друзья мои, – она вылечивается несколько не легче, чем страсть к писанию. Случилось так, что вода протекла вторично, но на этот раз, пользуясь уже разведанными руслами, она достигла третьего этажа, что повлекло за собой дружеский разговор в еще более широкой компании.

И снова верхний друг, вооружившись пульверизатором, из которого разбрызгивалась белая краска, побелил шесть потолков.

Но я недаром отмечал в начале главы, что Бог любит троицу.

– Неужели вода протекла и в третий раз?

– Да, и самым гнусным образом! На этот раз вода была грязная – в ней было замочено линяющее белье – какие-то синие трикотажные шаровары, кофточки и прочее, отчего вода была более похожа на чернила, и эти чернила проточили дом насквозь, до первого этажа, прожгли его синей слезой и ушли в фундамент (я вам еще напомним об этом случае в самом романе, а сейчас некогда).

Тогда и случился товарищеский суд. Верхний друг все еще надеялся, что дружеские узы сильнее любой протечки, но нельзя долго испытывать терпение даже самих верных друзей. Они стали товарищами, образовали суд и вызвали бывшего друга на заседание. Заседание происходило в жилищной конторе.

Евгений Викторович Демилле (а это он был верхним другом) явился туда, исполненный пылких чувств раскаяния. В суде заседали: Восьмой этаж – судья, Седьмой, Третий – заседатели, Первый, Второй, Четвертый, Пятый, Шестой – свидетели, зрителей не было, за исключением двух пенсионерок, которые проживали даже не в этом районе, а зашли в суд случайно, увидев объявление.

Если бы судьей был Первый этаж, приговор мог бы быть мягче.

Евгений Викторович, к слову сказать, – мой сосед, но не по вертикали, а по горизонтали. Иначе, боюсь, я тоже входил бы в состав заседателей или свидетелей. Скорее, все же свидетелей – но я не был бы судьей ни при каких обстоятельствах (клянусь вам!), потому что знаю одну заповедь и никогда никого не сужу.

Восьмой этаж приговорил Евгения Викторовича к высшей мере. И его бы расстреляли, милорд, если бы он не отремонтировал всю вертикаль нашего кооперативного дома!

– Как? Снова?

– Да, тем же путем.

– Но тогда я не понимаю, зачем понадобился товарищеский суд? Ведь он делал то же самое и без всякого суда...

– А высшая мера? С судом ли, без суда – мы все равно делаем то, что нам положено делать, но куда почетнее делать свое дело, сознавая, что над тобой висит высшая мера...

– Я не понимаю.

– Я тоже.

Между тем я вижу, что наш квадрат уже готов.

– Чрезвычайно красивая картина!

Кладите единообразно – гербом вверх. Теперь нетрудно убедиться, что на квадратном метре помещается ровно 10 000 копеечных монеток, что и составляет искомую сумму в 100 рублей. Видите, как просто? Именно таким путем впервые была определена стоимость квадратного метра.

Прошу не трогать это произведение, может быть, оно нам еще понадобится. Всегда приятно иметь в доме лишние сто рублей. Огородите квадратный метр, не пускайте на него кошку, не употребляйте монетки на беспельные звонки по автомату – любуйтесь!

А мы вернемся к началу нашего подступа, чтобы подойти к его концу. Как вы уже поняли, надеюсь, в романе будут присутствовать и отступы, где мы будем толковать с милордом о попутных вещах. Не так ли и жизнь наша (это сентенция, не обращайтесь внимания) состоит из бесконечных подступов и отступов: сначала мы подступаем, а потом отступаем и снова подступаем, а там, глядишь, время прошло и, что самое удивительное – что-то из этого времени образовалось.

Но пока не образовалось ничего, кроме скопления людей в строительной яме. Среди них много нынешних жильцов нашего дома, которые с плачевным видом топчутся на месте, безнадежно повторяя: «Две на одну... Три на две... В другом районе... По договоренности...»

Однако никто с ними не меняется, потому как наш дом выкинул фокус (а какой – об этом роман) и покинуть его теперь стало трудно, почти невозможно, милорд.

Подступ третий «О кооперации»

Если бы спасательным кругам присваивали имена, то мой литературный спасательный круг назывался бы «Реализм». Я голосую за реализм. Я отдаю ему голос. Я был бы счастлив называться реалистом.

Но всякий термин требует определения.

Не обращайтесь только к литературоведам, заклинаю вас! Кроме недоумения, вы ничего не получите. Так, например, они утверждают, что запуск пивного ларька на орбиту вокруг Земли нельзя считать реалистической деталью повествования. А я отвечаю: смотря в каком сочинении. Реализм – не метод, а цель. Ежели запуск ларька необходим для достижения реалистической цели повествования, то он абсолютно реалистичен. Под реалистической же целью я понимаю правду.

Иногда, чтобы приблизиться к жизни, нужно довольно далеко отойти от нее. И я не хочу спасательного круга с надписью «Правдоподобие», когда под рукой Реализм в широком понимании этого слова.

– Реализм «без берегов»?

– Нет, с берегами, с руслом, с холмиками на берегу, со стадами коров, дающих реалистическое молоко, но чтобы река была широкой и живой – Волга, к примеру, а не прямая, как палка, Лебяжья канавка, – ибо нашу удивительную российскую действительность может вместить река разнообразная и не менее удивительная.

Поэтому я прошу прощения, милорд, если в моем сочинении вы найдете факты, плохо согласующиеся с законами природы или маловероятные...

– Вы хотите сказать, что ничего такого, о чем вы сочиняете роман, не было?

– Что вы, милорд, Господь с вами! Здесь все чистая правда! Да вот и Евгений Викторович, сосед мой, подтвердит. И в милиции подтвердят.

– Значит, было не так?

– Нет, именно так!

– Тогда почему «плохо согласующиеся»?

– Да потому, что законы природы в каждом сочинении – свои, а мои плохо согласуются с установленными критикой в качестве образца.

– Плюньте на критиков!

– Хорошая мысль, милорд.

Спохватившись – за всеми этими разговорами я чуть было не пропустил действительно важную тему, – я хочу представить вам кооператив.

Нет, надо торжественнее: Кооператив.

Или даже так: КООПЕРАТИВ!

Тут я взял с полки «Словарь иностранных слов» (благо, он всегда под рукой) и открыл его на стр. 363 – там, где КОО... пробежал взглядом... КООПЕРАТИВА нет! Но есть КООПЕРАЦИЯ, которая растолковывается как одна из форм организации труда, при которой много лиц совместно участвуют в одном и том же процессе труда или в разных, но связанных между собою процессах труда (ну вот как мы с мистером Стерном пишем эту книжку, например), а также как массовые коллективные объединения в области производства и обмена.

Производство здесь совершенно ни при чем, его я отбрасываю. В самом деле, никогда и ничего совместно мы в нашем жилищно-строительном кооперативе не производили за все десять лет его существования. Остается обмен, но... предполагать, что наш ЖСК был организован только для того, чтобы его члены-кооператоры обменивали свои квартиры?.. Нет, здесь что-то не так!

А какая была идея! Какой музыкой отзывалась она в душе! Вы представьте: тысяча человек разных возрастов, профессий, национальностей, вероисповеданий, убеждений, привычек, характеров и семейного положения объединяются в единый КООПЕРАТИВ (чуть было не сказал КООЛЛЕКТИВ!), чтобы сообща построить прекрасный дом на 287 квартир и жить в нем припеваючи, в полном соответствии с правилами социалистического общежития. Вот я вижу: они идут вносить деньги на постройку дома.

– Где они их взяли?

– Скопили, милорд, назанимали, где можно, с рассрочкой платежа, собрали по крохам, взяли у родителей, выиграли в лотерею – и вот несут... Я сам когда-то нес примерно две тысячи рублей (сейчас несут больше), собранных всеми указанными способами и отложенных на сберкнижку, откуда в один прекрасный день вся сумма была снята и доставлена в другую сберкассу... Я очень волновался: мало ли что? Никогда в жизни я не держал в руках такой суммы наличных денег.

– А много это или мало?

– Это моя годовая зарплата по тем временам. И вот суммы этой не стало, вернее сказать, она влилась слабой струйкой в общий денежный поток коллектива, чтобы уже через год возникнуть в виде девятиэтажного дома на бывшей Илларионовской улице, переименованной вскоре (уж не в честь ли появления дома?) в улицу Кооперации.

Мы стали кооператорами с улицы Кооперации.

Господи! Дай нам кроме жилплощади еще и умение ею пользоваться! Дай нам кроме свобод, которые у нас есть, еще и навык с ними обращаться! Дай нам кроме идеи кооператива еще и чуточку человеческой расположенности, предупредительности, общительности и доверия!

За десять лет я не познакомился ни с одним из наших кооператоров. Я не говорю – подружился...

– Неужели у вас такой скверный характер?

Что же мы купили за деньги, заработанные потом и кровью, в борьбе и лишениях? Идею кооператива? Идеалы равноправия, союза и взаимопомощи? Нет, мы спрятались в своих квартирках, мы украшаем их каждый на свой лад, мы знать не знаем о соседях (совсем как англичане, милорд!), хотя правление кооператива регулярно устраивает общие собрания, настойчиво вывешивает в подъездах призывы к уплате задолженности за квартиру и даже поздравляет жильцов с Новым годом путем красочного плаката.

А за последнее время я всех узнал.

Вот, например, Евгений Викторович Демилле...

Впрочем, об Евгении Викторовиче – в самом романе. Не будем загромождать подступы к нему.

А пока займемся описанием дома. Нам нужно знать, как он устроен.

Дом кирпичный... Не правда ли, большое преимущество? Терпеть не могу бетонные панели, соединяемые битумными швами, бетонные потолки, бетонные стены, куда ни один гвоздь не лезет... Бетонные дома гудят!.. Звенят!.. А наш кирпичный молчалив... Итак, он кирпичный. Высота потолков, как и везде, два с половиною метра. Разумеется, лифт...

Кстати, о лифте. Лифт – это наш клуб, мистер Стерн.

От первого до последнего этажа нашего дома лифт движется полторы минуты. За это время можно успеть:

а) справиться у едущего с вами кооператора, на какой этаж ему нужно. Поверите ли, за десять лет мы не запомнили такой простой вещи. Я знал в лицо только соседей по этажу: Демилле, его жену и маленького сына, инженера Вероятнова с семейством, одинокую старуху без имени и отчества (может быть, и без фамилии), двух Ментихиных и кое-кого еще. Их я доставлял вместе с собою на девятый этаж, не спрашивая. У остальных приходилось вежливо выпытывать, а после, получив ответ, хлопать себя по лбу, приговаривая: «Да, верно! Как я мог

забыть, что вы на восьмом» (седьмом, шестом, пятом, четвертом, третьем – на второй этаж лифт не ходит);

б) сказать: «Ну и погодка!»;

в) или: «Где вы брали апельсины?» – «В нашем». – «Спасибо»;

г) сделать озабоченное лицо...

И тут лифт останавливался – как раз вовремя, потому что все решительно темы были исчерпаны. Клуб у нас мимолетный, не обязывающий ровно ни к чему. Еще он отличается тем, что одновременно служит стенгазетой.

– Я не понимаю.

– Ну, милорд, это совсем просто! О газете вы ведь имеете представление?

– Сударь...

– А это то же самое, только без бумаги, на стене. Каждый может написать, что ему вздумается. Свобода слова в клубной стенгазете полнейшая. Правда, я ни разу не встречал в ней статей по политическим вопросам. Наши кооператоры пишут по вопросам пола, любви, дружбы; много стихотворений, а также – по национальному вопросу.

Разберем еще маленький математический парадокс, связанный с домом. В доме четыре подъезда и девять этажей. На каждой лестничной площадке по восемь квартир. Умножим:

$$4 \times 9 \times 8 = 288.$$

А между тем, как вы уже знаете, в доме насчитывается 287 квартир. В последней живет семейство Демилле.

– Куда же девалась одна квартира?

– Это чудеса архитектуры. Но квартиры нет.

В этой несуществующей квартире живет несуществующая семья, к которой, кстати, вы имеете прямое отношение, милорд.

– Я?

– Да, я вас потом познакомлю. Правление занимает существующую квартиру на первом этаже второго подъезда.

А теперь, когда мы познакомились с устройством дома, поговорили о квадратных метрах, клапанах, кооператорах и реализме, мне ничего не остается, как со страхом скомандовать себе:

– Пять!

– Четыре!

– Три!

– Два! (Вы не представляете, какой долгий путь нам предстоит!)

– Один!

– Пуск!

Подступ четвертый «О чудесном вознесении пивного ларька»

Бог может любить, что ему вздумается, – это его личное дело. А мы с мистером Стерном отныне любим Четверицу (в отличие от Троицы – вы догадались?), почему и затеваем еще один подступ.

– Вы просто боитесь!

– Чего я боюсь?

– Писать роман...

– Попробовали бы сами. Интересное дело! (Конечно, боюсь.) Отправляться в такие странствия, такие дебри (боюсь ужасно!) – 287 квартир! – без всякой надежды на признание, прочтение и опубликование, без... нет, наоборот: опубликование, прочтение и признание, без моральной поддержки, без денег, наконец.

– А на что вам деньги?

– Бумага, милорд... Отправляться в это плавание в одиночку (простите, мистер Стерн!), имея в качестве компаса и маяка лишь собственные слабенькие представления о Прекрасном, Высоком и Правдивом (это все одно и то же), – и не бояться? Страшно боюсь.

Будем считать, что наша ракета в предыдущем подступе стартовала неудачно. Или же будем считать, что она еще не стартовала.

А пока запустим на орбиту пивной ларек.

Это много проще, чем запустить роман. К тому же необходимо расчистить место на Безымянной улице Петроградской стороны.

Кажется мне временами, что функции любого места в нашем городе, любого здания и помещения были определены когда-то очень давно – может быть, царем Петром – и с тех пор практически не меняются. Вернее, изменяется лишь форма, но содержание остается неизменным. Так, например, в помещении бывших царских конюшен, что на Конюшенной площади, находится ныне таксомоторный парк, а в Казанском соборе – Музей истории религии и атеизма. Кавалергардская улица названа улицей Красной Конницы – она лишь изменила цвет, в бывшем Адмиралтействе учат военных моряков, а в зале Дворянского собрания по вечерам собирается интеллигенция слушать музыку.

Наш пивной ларек на Безымянной не принадлежит к достопамятным местам, ничего там не происходило значительного, историко-революционного или литературно-художественного, но именно здесь вот уже сто с лишним лет трудящиеся пили пиво. Ларек выгоднее было бы поставить на углу Безымянной, однако его отнесли чуть дальше, то есть туда, где более века тому назад один предприимчивый немец по фамилии Кнолле организовал пивную – полуподвальное помещение, низкий сырой зал, темные дубовые столы, сейчас там книжный склад.

Пивная Кнолле исчезла в Гражданскую войну. Склад был организован несколько позже. И вы представить себе не можете, но эти несколько лет безвременья (в смысле пива) доказали стойкую приверженность посетителей Кнолле к этому месту, доказали их преданность Безымянной, то есть в конечном итоге доказали, что место для пивной было выбрано не просто так, а было в этом нечто мистически безошибочное.

Народ приходил сюда по-прежнему, располагался у заколоченных досками дверей пивной и распивал что придется.

Потому-то, когда встал вопрос об организации книжного склада в бывшем помещении пивной Кнолле, сама собою родилась мысль облегчить бедственное положение любителей пива, поставив рядом с дверями книжного склада пивной ларь – убогое деревянное строение, подле которого всегда стояли пивные бочки; их увозили, привозили; добровольцы из толпы помогали продавщице тете Зое выбивать деревянные затычки массивным конусом, скользя-

щим по длинной блестящей трубке с краником на конце; на донца бочек ставились кружки, раскладывалась вобла (тогда была вобла), бывало, и кое-что покрепче, чем пиво, и завязывалась беседа.

Тетя Зоя возникла вместе с ларьком...

– Она заменила Кнолле?

– Да, милорд, и еще как заменила! Чем был для народа этот чужак немец? Немцем! А тетя Зоя стала матерью-хранительницей квартала. Когда ставили ларек, ей было лет двадцать, не больше, она была Зоинькой, Зайчиком, Зайчонком, сестричкой, дочкой, красавицей – кто как не называл! Но постепенно, и довольно скоро, она стала тетей Зоей: она расплнела, не утратив сначала привлекательности, а потом и утратив; обзавелась семьей – завсегдаи знали мужа, сына, подробности жизни; затем потеряла семью в блокаду, когда и ларек сам пустили на дрова; постарела тетя Зоя, поседела, но по-прежнему оставалась всеобщей тетей, доброй и строгой. Алкоголиков она не любила (завзятых, конечно), поддерживала вокруг ларька железную дисциплину – не могло быть и речи о пьяной драке у ларька тети Зои; она сразу покидала свое место, выходила на улицу, подбоченившись, и вопрошала буйствующих: «Что, мужики? Места другого не нашли?» – и инцидент рассасывался.

Она наливала и без денег, когда их не было, и я не помню случая, чтобы деньги не вернули. Авторитет тети Зои был безграничен. Последние годы она сдала (ей было уже за семьдесят), кружки не так ловко мелькали в ее руках, она долго рылась в мелочи, отсчитывая сдачу, но упаси бог пришлецу со стороны прикрикнуть, поторопить – его изгоняли из очереди тут же!

На чем же основывался тетин Зоин авторитет? На честности!

Знаете, милорд, у нас есть такой плакат (его еще можно увидеть в провинциальных пивных): «Требуйте долива пива при отстое пены до черты!»

– Повторите, не понял.

– «Требуйте. Долива. Пива. При отстое. Пены. До черты».

– Ни черта не понимаю!

– Формулировка, конечно, скверная, но у нас ее все понимают. Дело в том, что на пивной кружке есть рисочка, отметка, обозначающая полулитровую порцию пива (у нас метрическая система, милорд). А вы сами знаете, что пиво имеет обыкновение давать обильную пену. Некоторые продавцы и продавщицы пива бессовестно пользуются этим физическим законом, наливая пиво бешеной струей, в результате чего, если дать ему отстояться, уровень жидкости в кружке далеко не дойдет до рисочки. А это деньги, милорд.

– Такие мелочи?

– Вот именно! В этом и состоит указание плаката: дайте пиву отстояться, а потом потребуйте его долива до черты! Но плакатом пренебрегают. Как можно дать пиву отстояться? Отстояться можно в очереди, но когда пиво уже налито, оно не задерживается в кружке ни секунды.

Честность тети Зои можно было проверять мензуркой.

И вот благодаря своей честности и отстою пены до черты тетя Зоя к концу трудовой жизни не скопила денег, не купила дачу, не обзавелась коврами, хрусталем и драгоценностями, а продолжала жить в коммунальной квартире, здесь же, на Безымянной, в полном одиночестве, скромности и терпении. Более полувека торговать пивом! Из пены можно было бы соорудить наш кооперативный дом. Я не шучу. Потому, вероятно, и произошло из ряда вон выходящее событие.

Случилось так, что однажды весной, точнее, вечером в пятницу, в апреле месяце, тетя Зоя заработалась допоздна. То ли не вовремя пришла цистерна с пивом, то ли собесовские дела отвлекли тетю Зою, но она открыла свой ларек лишь в шесть часов вечера и торговала до темноты (а в апреле темнеет у нас уже поздно). Многие ее постоянные клиенты разбрелись по соседним ларькам, а может быть, купили бутылочное, но факт остается фактом: в тот весенний

холодный вечер почти никого из коренных обитателей Безымянной в очереди у ларька не было, а она состояла из незнакомых тете Зое людей.

Тетя Зоя сидела на высоком табурете в своем новеньком бело-голубом ларьке с двумя округлыми белыми баками, а стеклянные трубки, служащие для определения уровня пива, показывали, что его может хватить на всю ночь, если, конечно, доброта тети Зои распространится так далеко. Очередь была значительная. (Я говорю о длине, а не о составе.) Здесь были в основном молодые люди, свернувшие на тихую Безымянную с шумного Большого проспекта, расположенного неподалеку, в поисках чудесного вечернего ларька, слух о котором распространился мгновенно. А так как тетя Зоя устала за день, то работала она не в пример медленнее даже своего дневного обыкновения. Однако молодежь не оценила героизма тети Зои. В очереди раздавался глухой ропот, шуточки по поводу нерасторопности тети Зои и даже оскорбительные предположения, что она, мол, пьяна.

Тетя Зоя в жизни не пила ничего крепче кваса!

Случилось и так (не столько по прихоти автора, сколько по воле судьбы), что в очереди томился Евгений Викторович Демилле. Конечно, он не допускал никаких выпадов против тети Зои, хотя и был в приподнятом стаканом вина расположении духа. Евгений Викторович попал на Безымянную не поймешь как – шел без определенного маршрута, дабы скоротать время, оставшееся у него до встречи с одной особой, которой он сам же назначил вчера свидание, познакомившись в компании у своего приятеля. Свидание было довольно поздним, потому что особа работала в тот день во вторую смену, но перенести его не пришлось в голову Евгению Викторовичу, ибо он был человеком целеустремленным, любящим ковать железо, пока оно горячо.

Занявший за Демилле подвыпивший старичок маленького роста в длинном и широком пальто попросил закурить, и Евгений Викторович, угощая его сигаретой, не удержался:

– Уж больно долго...

– Тетя Зоя... она... – попытался ответить старичок, но продолжить как-то не смог.

Между тем ропот возрос. Молодой человек в распахнутой дубленке подошел из конца очереди к окошечку и прокричал тете Зое:

– Шевелись, мать! Так и замерзнуть можно!

– Да не видишь – пьяная...

– Карга старая. Нализалась!

– Старая ж...!

Извините, милорд, но именно такие раздалась в очереди голоса, на что тетя Зоя не обратила внимания, а может быть, не расслышала. Зато старичок в длинном пальто, пошатываясь, покинул очередь и подошел к молодому человеку, заварившему кашу.

Он встал перед ним, и черты его старческого лица исказились. Он силился что-то сказать, но не мог. Губы его шевелились, а вернее, дрожали, и с губ капнула слюна. Молодой человек насмешливо посмотрел сверху на пьяного старичка и спросил:

– Ну чего тебе, дед?

– Тетя Зоя... Она... – выговорил старичок.

– В задницу твою тетю Зою!

Тогда старичок взмахнул рукавом пальто, где руки и видно-то не было – такая она была тоненькая и немогущая, – и ударил парня рукавом по лицу. То есть он хотел ударить по лицу, но не совсем достал, и рукав шлепнул парня по плечу – удар смазался. Молодой человек же, не теряя ни мгновения, обеими руками повернул деда спиной к себе и дал ему здоровенного пинка ногою по нижней части пальто. Старичок взвился в воздух и отлетел. Тетя Зоя, заслышав шум, отставила кружку и наклонилась к стеклу, чтобы лучше разглядеть происходящее.

– Чего там у вас, сынки? – спросила она.

– Работать нужно! – зло прокричал ей тот же парень.

А поверженный старичок, медленно поднявшись с тротуара, снова пошел на парня. На этот раз ему удалось досказать фразу:

– Тетя Зоя... Она... святая!

– Пошел отсюда! – крикнул парень, не на шутку рассвирепев.

И тут из пивного ларька донеслось нарастающее шипение – жжж! шшш! ссс! Оно быстро переходило в свист. Раздался страшной силы взрыв, и под ноги очереди, отпрянувшей от лотка, брызнула белоснежная пена. Она клубилась по асфальту, сметая не успевших отскочить граждан, в то время как пивной ларек оторвался от земли и медленно пополз в воздух. Запахло кругом пивом; оно било из прорванных днищ белых баков двумя параллельными струями. Ларек ускорял свое движение вверх с нарастающим свистом. Еще мгновение (на головы сыпалась пивная пена; многие подставляли рты, глотая ее на лету), и ларек тети Зои вылетел в ночное небо, промелькнул мимо крыш и, оставляя пенный след, ушел в вышину.

Секунд пять в ночном небе были видны две белые точки бьющего из баков пива. Оно лилось рекою по тротуару, стекая в канализационные люки. Тетя Зоя вознеслась на орбиту.

– Ну? – сказал облитый с ног до головы старичок.

Тогда очередь в нашлепках кружевной пены, мокрая, трясущаяся молодая очередь стала разбегаться кто куда. Вмиг на Безымянной не осталось никого, кроме старичка и Евгения Викторовича.

Потрясенный Ев... Однако пора переходить к основному тексту.

Глава 1. На крыльях любви

...егений Викторович возвращался домой поздно ночью на такси.

– Он все еще был потрясенный?

– Да, потрясенный и возбужденный.

Евгений Викторович находился в нервическом состоянии человека, у которого отказали тормоза, – и не только вознесение ларька с тетей Зоей было тому причиной. Этот факт можно было бы рассматривать как некое знамение, и Демилле догадывался, что не все тут просто, хотя о какой уж простоте говорить! Ему, наверное, не следовало ходить на свидание, тем более что он тоже был облит пивом, которое, высохнув, образовало липкую корку на его плаще, но дело даже не в этом. Всякий разумный человек на месте Евгения Викторовича потихоньку отправился бы домой, помалкивая в тряпочку о полетах пивных ларьков, и постарался бы привести себя в порядок. Однако Евгений Викторович на свидание с особой пришел, особу повел в укромное место (а именно в мастерскую своего приятеля-художника, где уже была припасена бутылка сухого вина и легкая закуска); там же, пользуясь историей с пивным ларьком для заговаривания зубов и мозгов молодой особы (впрочем, не ручаюсь, что у нее были мозги), Евгений Викторович постепенно и ненавязчиво разоблачил ее (только не в смысле «вывел на чистую воду»), перенес на продавленный старинный диван и...

– Милорд, в нашем языке нет приличного слова для обозначения того, чем занимались Евгений Викторович с особой на диване. Скажу только, что пружина, выпиравшая из дивана, несколько испортила удовольствие девице.

– Она была девица?

– Ну что вы, милорд! Так принято называть молодых особ, не вкладывая в это слово какого-либо дополнительного смысла.

Девица очень смеялась фантазиям Евгения Викторовича. А он, войдя в роль и видя, что ему все равно не верят, прибавил от себя несколько живописных и не совсем реалистических деталей. Так, он утверждал, что старичок, назвавший тетю Зою «святой», вознесся тоже, чтобы там, на орбите, вдоволь напиться пива. Евгений Викторович, вызывая неудержимый хохот особы, подсчитывал запасы горючего в пивном ларьке и утверждал, что тот вполне способен развить вторую космическую скорость. Насчет скорости Евгений Викторович был прав, но про старичка наврал: не вознесся старичок никуда, это чистый вымысел, а преспокойно заснул тут же, у ступенек, ведущих в бывшую пивную Кнолле.

И пока старичок спал, Евгений Викторович закончил дела с девицей, после чего ему по обыкновению сделалось грустно и скучно. Эта грусть, эта тоска неизменно посещали Евгения Викторовича после подобных приключений. Странно даже, но он шел на каждое новое свидание с тайной надеждой на то, что и после того не исчезнет состояние азарта и стремления к цели. Однако оно исчезало. А лишь только оно исчезало, Евгений Викторович начинал маяться, совесть его пробуждалась и обрушивала на него град упреков, отчего герой выпрыгивал из постели (если она была), вскакивал с тахты, поднимался с дивана, с отвращением разыскивая и натягивая на себя разбросанные вокруг части туалета, а на предмет своих вожелений смотрел чуть ли не с ненавистью.

Согласитесь, женщины плохо это переносят. Вот и наша девица мгновенно обиделась, а так как была глупышкой, то не преминула и показать это. Она распустила губки, на глаза ее навернулась слеза... «Ты больше меня не любишь?» – прошептала она. (Евгений Викторович искал под диваном носок, тот куда-то запропал.) Девица отвернулась к стене и прекратила общение.

Евгений Викторович засовестился еще больше. Надо сказать, что положительно ответить на вопрос, поставленный его временной возлюбленной (любовницей, партнершей – это как

вам угодно, милорд), он никогда не мог, даже в том случае, когда действительно любил, а в этой мастерской... пружина выпирает... пыль... на столе разлитая и засохшая акварельная краска... раздавленный окурочок... Да вы что?! Смеетесь?! О какой любви может идти речь в подобной обстановке?!

Потому он мысленно обругал девушку душой и принялся искать второй носок. Девушка со злостью подпрыгнула на диване и тоже стала поспешно одеваться, причем настолько порывисто, что от кофточка отлетела пуговица. Евгений Викторович смиренно подал ее девушке. Та выругалась непечатно (чего уж тут стесняться!) и крикнула: «Ты бы хоть отвернулся!»

– Вот вам и любовь, милорд!

– Что вы говорите? В это трудно поверить.

– Я сам не верю, но это факт.

Впрочем, если вы думаете, что Евгений Викторович и его партнерша (любовница, возлюбленная) тут же разошлись, чтобы никогда больше не видеть друг друга, то глубоко ошибаетесь. Потом они пили кофе и еще немного вина, и ели сыр, и целовались уже несколько устало, так что Евгений Викторович почувствовал себя обязанным что-то предпринимать и уже хотел начать все сначала (то есть не хотел), однако девушка мягко воспротивилась... Словом, все кончилось хорошо.

– Удивительно!

Короче говоря, они вышли из мастерской ночью, поймали такси с зеленым огоньком – их в тот час много было на пустынных улицах; они охотились за пассажирами так же, как днем пассажиры охотились на них, и Евгений Викторович отвез особу домой (к мужу, как ни странно!), а сам поехал к своей жене.

– Скажите, а этот муж... он...

– О чем вы говорите, милорд! Муж был убежден, что жена явилась с ночного дежурства на электронно-вычислительной машине (очень долго объяснять, что это за машины и зачем они нам), а то, что от нее по приезде слегка пахло вином, так не секрет (тем более для мужа), что на службе, да еще в такое позднее время, всегда найдется повод, чтобы выпить.

– Но он мог проверить, в конце концов!

– А зачем? Лишнее волнение... Мы никогда не проверяем своих жен, милорд. Подозрительность оскорбляет.

Вот вы меня все время перебиваете, простите, а мне важно рассказать, что же случилось, когда Евгений Викторович приехал домой. Но сначала о непредвиденной задержке.

У нас в городе очень много мостов, которые по ночам разводятся. Время разводки мостов точно известно, оно вывешено на специальной синей табличке при въезде на него, однако о разводке забывают, и она всегда оказывается нехвата. Евгению Викторовичу нужно было попасть из центра в один из новых районов города, в северной его части, для чего следовало миновать Дворцовый мост. И вот он оказался разведенным.

Какое это необыкновенное зрелище, милорд! Дворцовый мост разводится посередине, так что створки разводящейся части встают на дыбы и оказываются высотой с десятиэтажный дом. Мост будто кричит разверстым ртом, но звук так низок, что его не воспринимает ухо. Это инфразвук.

– Что?

– В общем, его не слышно.

Такси остановилось в стае других машин, ожидающих, когда мост сведут, и Евгений Викторович вышел из машины, чтобы поближе посмотреть на него. Демилле остро чувствовал всякие деформации пространства, это было профессиональное.

У парапета дежурил молоденький сержант милиции; он расхаживал туда-сюда, опустив уши шапки-ушанки и озабоченно поглядывая на урчащие автомобили, не выключавшие своих моторов, чтобы те не замерзли.

– Скоро сведут? – поинтересовался Демилле раздраженным почему-то тоном, словно разводка моста была прихотью сержанта.

– Полчаса еще, – миролюбиво отвечал сержант и добавил, вскидывая руку: – Вот он последний караван.

Евгений Викторович взглянул в направлении, указанном сержантом, и действительно увидел вдали, где-то против крейсера «Аврора», огни каравана барж, видимые сквозь пролеты Кировского моста. Баржи неторопливо ползли по Неве, отражаясь в ней зелеными и красными искорками.

Демилле неудержимо потянуло к упиравшимся в небо огромным створкам, а в голове вдруг зародились варианты преодоления водной преграды: именно, возникла картина медленно сводящегося моста и прыжка с одного края на другой через пропасть... В общем, что-то такое пьяно-романтическое.

Он ступил на мост, но был остановлен милиционером:

– Нельзя туда. Не положено.

– Почему? – стараясь быть ироничным, спросил Евгений Викторович. – Неужели вы думаете, что я смогу причинить мосту вред? Он ведь вон какой прочный! – и Демилле для убедительности притопнул ногой, на что мост, разумеется, никак не отозвался.

– Шли бы себе в машину! – с досадой сказал сержант. – Выпьют и начинают выступать.

Демилле ступил обратно, но в машину не пошел. Что-то раздражало его, сидела внутри какая-то заноза, царапающая душу, а почему – Евгений Викторович не понимал. Вряд ли это были царапины совести, поскольку ночные его приходы домой последнее время были не в диковинку; Демилле уже убедил себя превыше всего ставить собственную свободу, то есть ставил ее над совестью, хотя и не без труда. Но сегодня ощущались тоска и тревога, прямо-таки собачьи тоска и тревога, как у подброшенного под чужие двери щенка.

Караван барж между тем, миновав Кировский мост, вышел на широкий простор Невы у Петропавловки и, выгибая огни в плавную дугу, потянулся к Дворцовому мосту.

Евгений Викторович поднял воротник, засунул руки в карманы плаща, но тут же их выдернул – карманы были липкими от засохшего пива – и, задрав голову вверх, принялся всматриваться в звезды. Холодные их иголки, продутые небесными ветрами, кололи глаза; слезы наворачивались, дрожа на ресницах, набухали... и вдруг сквозь колеблющиеся тяжелые капли Евгений Викторович увидел в небе маленький светящийся прямоугольник, который тихо передвигался меж звезд.

Он смахнул слезы с ресниц, протер глаза кулаками – как в детстве – радужные круги, искры, – и выплыл желтый четырехугольник, который двигался справа налево в ночном небе, чуть ниже тускло сиявшего ангела на шпигеле Петропавловки, но далеко-далеко за ним.

Если бы светящийся объект был меньше и не имел столь явной прямоугольной формы, Евгений Викторович предположил бы, что наблюдает искусственный спутник (совершенно нет времени объяснять, милорд, вы уж простите!), однако более всего это было похоже на иллюминатор космического корабля, двигавшегося, напоминая, бесшумно и плавно.

Конечно, Евгению Викторовичу тут же пришла мысль о летающих тарелках.

– Что? Что такое?

– А теперь, милорд, я охотно объясню, что это такое, потому что если отношение к искусственным спутникам никак не связано с человеческим характером, в данном случае – с характером Демилле, ибо есть просто-напросто определенная техническая данность, примета времени (как в ваши времена гильотина, милорд), то отношение к летающим тарелкам есть вопрос веры, и, как всякий вопрос веры, он связан с личностью.

Итак, летающими тарелками, или НЛО, что означает «неопознанный летающий объект», стали в наше время называть некие предметы или явления, наблюдаемые в небе, причем такие, которым не находится сразу разумного объяснения. Возникает непреодолимое желание видеть

в них летающие корабли наших братьев по разуму, пришельцев из иных миров, якобы интересующихся нашей жизнью и облетающих с этой целью пространства планеты. Говорят, что и в ваше время, милорд, были такие «тарелки», разве что вы их меньше замечали. Должно быть, дела, недостаток знаний... Быть может, больше здравого смысла? Но мы заметили, мы ведем пристальные наблюдения, научные познания наши столь обширны, что позволяют пускаться в головокружительные экскурсии к иным мирам. Мы хотим общаться с нашими братьями!

Заметьте, общаться друг с другом нам уже не хочется. Надоело. Нам подай инопланетянина, гуманоида, который, конечно же, будет тоньше и умнее этой грубой женщины под названием «свекровь», или того развязного продавца в грязном халате, которому мы не смеем сказать в лицо все, что думаем о нем, ибо от него зависим, или тех двух-трех наших начальников и десятка сослуживцев, с которыми мы каждый день бок о бок идем вперед к великой цели... Господи! Возьми нас на другую планету, где уже всё построили, всё преодолели... Скафандры, ядри их душу...

– Ну зачем же выражаться?

– Так хочется чуда, так соблазнительно снова стать ребенком, опекаемым высшей, разумной, гуманной цивилизацией. И мы верим в это, милорд. Увы!

Верил и Евгений Викторович. То есть не то чтобы верил безоговорочно, но хотел верить, верил половинчато, сомневался. С одной стороны, будучи по профессии архитектором, следовательно, человеком точного знания, он понимал, что существуют или должны существовать вполне научные объяснения НЛО, а разговоры о гуманоидах – досужая обывательская болтовня. Но с другой стороны, будучи архитектором и по призванию, то есть принадлежа отчасти к искусству, он обладал художественным воображением и желанием выйти за пределы зримого опыта, воспарить к заоблачным сферам, где – чем черт не шутит! – могут быть такие вещи, «что и не снились нашим мудрецам».

Он бы поверил и вполне, если бы сам хоть однажды наблюдал нечто подобное. Но, как назло, ни миража, ни иллюзии, ни загадочного отражения или блика ни разу не встретилось на пути Евгению Викторовичу, посему он более склонялся к скучному, но непогрешимому материализму.

И тут, узрев в небе светящийся предмет, Демилле, подогреваемый остатками вина в организме, внезапно вскрикнул и потерял дар речи. Он лишь тыкал кулаком в небо, чем обратил на себя внимание сержанта.

– Чего? Чего вы? – недовольно начал милиционер, обращаясь к Демилле, а потом поворачиваясь и вглядываясь туда, куда указывал поднятый кулак. – Чего случилось?

– Смотри! Смотри! – шептал Демилле, а милиционер, обеспокоившись, со старанием шарил взглядом по небесам, как вдруг...

Прямоугольник погас, будто там, на космическом корабле, повернули выключатель, и в это мгновение острая игла боли пронзила сердце Демилле, он схватился за левый бок, охнул и оперся на парапет. Непонятная нежность и жалость сделали его тело податливым, безвольным и легким, словно оборвалось что-то в душе. Однако это продолжалось лишь секунду. Демилле по обыкновению перенес жалость на себя, подумал с отчаянием: «Так и умрешь где-нибудь ночью на улице, и никто...» – в общем, известное дело. Он сгорбился и уже не смотрел в небо, а взглянул внутрь себя, где тоже была ветреная холодная ночь и ни одна звезда не горела.

Сержант между тем, безуспешно обзрев небесные сферы, не на шутку рассердился. Он вообразил, что подвыпивший незнакомец разыгрывает его, смеется, гуляка проклятый, а ночь холодна, и смена не скоро, и затыкают им по молодости самые собачьи посты... короче говоря, сержант тоже себя пожалел и прикрикнул на Евгения Викторовича:

– Ступайте в машину! Слышите! Не то сейчас наряд вызову, отправлю куда надо!

Демилле покорно отлепился от парапета и поковылял к машине. Сперва он ткнулся не в ту, и его обругали, затем увидел, что его обеспокоенный водитель призывно машет рукой, и побрел к своему такси, бережно неся внутри жалость и размягченность.

– Нагулялся? – полупрезрительно спросил таксист, а Евгений Викторович взглянул на счетчик и убедился, что тот нащелкал семь рублей двенадцать копеек, а следовательно, до дому едва хватит, поскольку в кармане оставалась последняя десятка с мелочью.

Вздыбившийся мост медленно осел, сержант открыл движение, и стоя таксомоторов ринулась на Стрелку Васильевского острова, с наслаждением шурша покрышками по занявшему свое привычное место асфальту.

Демилле устроился на заднем сиденье и сжался в комочек, лелея свою грусть. Он любил эту грусть – она его возвышала, делала значительнее, имела даже оттенок благородства, а сам краем уха ловил доносящиеся из динамика радиотелефона ночные переговоры водителей.

– Такси было с радиотелефоном?

– Вот именно, милорд! Как вы славно включаетесь в наш век! В сущности, меж нами нет той пропасти, о которой любят говорить... ну, такси... ну, радиотелефон... подумаешь! Это все условия игры, которые легко принять, в то время как суть человеческая мало изменилась, что и позволяет нам отлично понимать друг друга.

Итак, машина была с радиотелефоном, что указывало на принадлежность ее к разряду «выполняющих заказы», но в то позднее время заказчиков не нашлось, посему таксист и подобрал Демилле с дамочкой на улице.

Радиотелефон хрипел и трещал. Откуда-то издалека, словно из космоса, пробивались голоса водителей, выкликали диспетчера, перешучивались. Под эти фантастические ночные разговоры в эфире Евгений Викторович задремал, откинувшись головою на сиденье, и сквозь дрему отмечал, как проносятся мимо улицы и дома: промчались по проспекту Добролюбова, мигнула подсвеченная изнутри льдина плавучего ресторана «Парус», и такси вырвалось на Большой проспект Петроградской стороны, пустынный и прямой.

И лишь только сон скрыл от Демилле виды ночного города – и цепочки огней, и тревожные мигающие желтые пятна светофоров – и начал заменять их совсем иными видениями, как раздался скрип тормозов, такси прыгнуло в сторону, точно исположенный заяц, а перед капотом метнулась серая легкая тень.

Водитель, стиснув зубы, выскочил из машины, догнал серую человеческую фигурку – то была старушка в пуховом платке, она часто и мелко крестилась – и остановил ее за плечо.

– Ты что, бабка!.. – закричал водитель, и непечатные слова сами собой посыпались у него изо рта. – На кладбище торопишься? Днем бежать надо! Кладбища ночью закрыты! – уже выпустив пар, закончил он.

Старушка не слышала. Или слышала, но не понимала. Она продолжала мелко осенять себя крестом, точно на нее напала трясучка. Губы ее шевелились и повторяли:

– Господи, свят-свят! Спаси и помилуй!.. Спаси и помилуй, свят-свят!

– Чего стряслось-то? – обескураженно спросил водитель, поняв, что не скрип тормозов и близкая смерть под колесами вызвали у бабки испуг.

– За грехи наши... светопреставление... свят-свят, – твердила старушка.

Водитель махнул рукой, и старуха провалилась в ночь, как летучая мышь.

Надо сказать, что Демилле тоже выскочил из машины, когда увидел страшные глаза водителя и понял, что тот готов убить несчастную старушку. Он приблизился к месту происшествия и с облегчением заметил, что пыл водителя угас, старушка невменяема и бормочет бог весть что. Еще секунда – и она скрылась в подворотне. Острый кончик развевающегося за нею пухового платка лизнул кирпичный угол и навеки исчез из жизни Евгения Викторовича.

– Прибабахнутая... – задумчиво сказал водитель и направился к покинутой машине.

Если бы он знал, милорд, насколько точное вылетело у него слово! Ведь старушка именно была «прибабахнутая», но вот как, почему и чем она была «прибабахнута» – об этом не знали ни водитель, ни Евгений Викторович, хотя, по удивительному стечению обстоятельств, к последнему факт имел прямое отношение.

Когда вновь заработал мотор, а вместе с ним и динамик радиотелефона, водитель и Демилле услышали, что в эфире творится нечто невообразимое. Два или три голоса, захлебываясь, о чем-то рассказывали, но о чем – понять было невозможно, потому как диспетчер, позабыв о хладнокровии, кричала со слезой: «Прекратите засорять эфир!» – и этим вносила дополнительную сумятицу. Демилле удалось установить, что какого-то водителя, Мишку Литвинчука, чуть не раздавило.

– Где? Как? При каких обстоятельствах?

– Да не больно знать хотелось, милорд! Что-то там такое произошло в ночном городе, сдвинулось или осело, а может, почудилось...

Водитель выключил радиотелефон, и Евгений Викторович снова погрузился в дремоту.

Проехали Кировский, взлетели на Каменноостровский мост (навстречу пронеслась колонна милицейских машин с синими мигалками), дугою промчались по Каменному, миновали мост Ушакова и Черную речку, оставили позади кинотеатр с красными буквами «Максим» и вырвались наконец на проспект Энгельса, уносящийся вдаль – в Озерки, Шувалово, Парголово, где на бывших болотистых лугах стоят ныне сотни и тысячи похожих друг на друга многоэтажных строений. Демилле сонной рукою сжимал в кармане липкие ключи от дома; водитель вновь включил радиотелефон и повторял в микрофон: «„Двадцать седьмой“ – Гражданка...» – пока не щелкнуло в динамике и далекий девичий голос сказал: «Поставила “двадцать семь” на Гражданку».

Они свернули вправо и поехали по временной, в ухабах, дороге – так было ближе, – затем свернули еще, и отсюда совсем недалеко уже было до улицы Кооперации. Она и возникла вскоре: въезд на нее был отмечен двумя точечными шестнадцатиэтажными домами, далее по левую сторону стояли двенадцатиэтажные и также точечные дома, а по правую – два детских сада, абсолютно одинаковые, за которыми и был девятиэтажный дом Евгения Викторовича, выделявшийся оригинальной кирпичной кладкой «в шашечку».

– Куда дальше? – спросил водитель, когда такси миновало первый из детских садов.

Демилле встрепенулся и взглянул на счетчик. Там значились цифры 10.46. Он сунул руку в карман плаща, опять испытал легкое отвращение, и достал слипшуюся от пива мелочь. Беглый взгляд на нее определил, что, слава богу, хватит! Только тут он посмотрел за стекло и сказал:

– Здесь, за вторым садиком, следующий дом.

– Где? – спросил шофер. (Они уже ехали мимо этого второго садика.)

– Ну вот же... – сказал Евгений Викторович и осекся.

Никакого следующего дома за садиком не наблюдалось. Там, где всегда, то есть уже десять лет, возвышался красивый, «в шашечку», дом, была пустота, сквозь которую хорошо были видны пространства нового района, и вывеска «Универсам» в глубине квартала, и небо с теми же звездами.

– Стой! – в волнении крикнул Евгений Викторович.

Он выскочил из машины, причем водитель тут же распахнул свою дверцу и вышел тоже, опасаясь, по всей видимости, соскока. Демилле сделал несколько шагов по асфальтовой дорожке и вдруг остановился, опустив руки, да так и замер, глядя в себя перед собою.

– Эй! Ты чего? – позвал водитель, а так как пассажир не отзывался, то он направился к нему и, только подойдя, понял, чем был потрясен Демилле...

Отступ первый «О лоскутных одеялах» и несколько страниц пролога

– Ну и чем же? Чем?

– Ах, милорд, и это говорите мне вы! Вспомните, прошу вас, какими фокусами вы занимались в своем «Тристраме»?

– Мне казалось – так забавнее...

– Еще бы! Оборвать повествование на самом интересном месте, чтобы ни с того ни с сего, с бухты-барухты («Вы не скажете, где расположена эта бухта?» – «Барухта? В вашем романе, милорд!») начать долгий и бесцельный разговор о каких-нибудь узлах, тогда как в этот самый момент рождается ребенок... мало того – герой романа!.. Как это называется?

– Послушайте, молодой человек! Вам не кажется?..

– Простите, Учитель. Смирнейше припадаю к вашим стопам. Вырвавшиеся у меня слова – не более чем авторская амбиция. Знаете, пишешь, пишешь, да вдруг и почувствуешь себя Господом Богом, Творцом, так сказать... Но ничего, это ненадолго. Всегда есть кому поставить тебя на место.

– Это правда, – печально вздохнул Учитель.

Поэтому, раз я решил следовать вашим традициям, ничего не будет удивительного в том, что повествование мое приобретет сходство с лоскутным одеялом. В лоскутных одеялах есть своя прелесть: их создает сама жизнь. Настоящее лоскутное одеяло шьется из остатков, накопившихся в доме за долгие годы: старые платья, шляпы, накидки, портьеры – все годится; простыни, пальто, чехлы – что там еще? – мама! мама! я нашел беличью шкурку! – давай ее сюда!

Да здравствует лоскутное одеяло!

Это совсем не то, что расчетливо накопить денег, расчетливо пойти в магазин и там расчетливо купить десять сортов материи, чтобы сшить лоскутное одеяло. Скучное будет одеяло! Ненастоящее... Жизненные впечатления наши – суть лоскуты (Евгений Викторович в настоящий момент получает внушительный лоскут страха и отчаяния, а мы в это время занимаемся легкой и приятной болтовней), они накапливаются, как Бог положит на душу, неравномерно, случайно, хаотично. Однако, намереваясь сшить из них лоскутное одеяло романа, мы будем тщательно заботиться о том, какие лоскутки с какими соседствуют – по фактуре, по цвету... Иной раз до зарезу необходим лоскуток, которого у тебя нет, – парча какая-нибудь, – и вот бегаешь по городу в поисках приключений, ищешь парчу...

– Чего не сделаешь ради лоскутного одеяла!

– Оно только с виду хаотично – с близкого расстояния, я имею в виду. Не толпитесь рядом – вы ничего не увидите! Отойдите лет на пятьдесят... может быть, на сто... и посмотрите оттуда (все равно с какой стороны). Так только можно судить о композиции одеяла, о новизне орнаментальных сюжетов, о цветовой гамме. Однако о теплоте уже судить нельзя! Вот в чем заковыка!

Греет оно или не греет? Этот вопрос можно разрешить лишь при самом непосредственном соприкосновении с одеялом, лишь вблизи... да что там вблизи – лишь закутавшись в него. А тогда красота общего, прелесть фантазии, ритм лоскутков непоправимо теряются.

– Что же вы предлагаете?

Я предлагаю следующее. В лоскутное одеяло нужно сперва завернуться и провести так холодную ночь – лучше на Северном полюсе... можно на Южном... в Норильске, Магадане, Ленинграде, на худой конец. Если одеяло не поможет спастись от холода – его безоговорочно следует выбросить, как бы красиво оно ни было. Если же удастся благополучно пережить ночь, то тогда нужно разложить его на белом снегу неподалеку от Полярного круга и взлететь как можно выше, к северному сиянию, чтобы оттуда взглянуть на наше одеяло.

– Его видно?

– Надеюсь. Смотрите, во-он там... Яркое пятнышко на снегу.

Лишь оттуда, с высоты, можно оценить эстетические качества одеяла, при том, что практическую его ценность (греет!) мы только что оценили.

– У меня уже мозги набекрень. О чем вы говорите?

– О нашем романе, мистер Стерн! О его композиции и свойствах, способных согреть душу читающему.

– Ха-ха-ха... Ха-ха-ха...

– Смейтесь, смейтесь! Смеется тот, кто смеется последним!

– Милый мой ученик! Вы подобны щенку, охраняющему колышек, к которому он привязан. Вы слышите, щенок тявкает?.. Не много ли шума по поводу колышка? Да, его вбили в землю. Место довольно интересное. Шенди-холл неподалеку... Но надо же что-то выстроить рядом с колышком, не правда ли?

– Чем же я, по-вашему, занимаюсь?

– Тявкаете.

– Неправда, Учитель. Мне горько слышать это именно от вас... Впрочем, если вы хотите не болтовни, а сути, если вам наскучили мои вопросы и аллегории, то я выполняю свое обещание и покажу те несколько страничек, которые я написал пару лет назад, когда в голову мне впервые пришла идея этого романа. Они вполне серьезны и не имеют к вам ни малейшего отношения.

– Ну вот... Уже обиделись! Вам не хватает чувства юмора.

– Знаете, милорд, раньше я думал так: чего-чего, а чувства юмора у меня с избытком, на десятерых. Лишь недавно я стал в этом сомневаться. Иногда не хватает юмора. Смотришь на что-нибудь такое забавное... Например, на драку двух женщин в очереди за селедкой... улыбнуться хочешь... ан нет! не улыбается! Проклятая слеза пробивается из глаз и падает на щеку, выжигая на ней горячий след стыда... старость, наверное...

– Ну полно, полно!

Я начал этот роман, как уже упоминал, давно, но написал лишь несколько страниц, назвав их «Прологом». Потом я еще раз начал роман и написал всего полторы страницы, никак их не озаглавив. («Пролог» возник сразу же после происшествия с нашим домом, о котором сейчас с ужасом догадывается Демилле и после которого я уже не мог быть его соседом – я сменил квартиру, ибо не в моих привычках описывать то, чем живешь в настоящее время, – нужно отодвинуться). Второе начало я, пожалуй, выброшу (оно неинтересно), а первое представлю – не столько на ваш суд, сколько для дальнейшего развития сюжета, о котором я все-таки забочусь, милорд! Не то что вы!

– Я готов.

– Я тоже. Итак:

Пролог. Над городом

Мальчик проснулся ночью от того, что увидел во сне Землю, плавно отходящую от него и теряющую с ним связь. Только что перед этим он видел себя с матерью на большой площади, в центре которой стояла каменная колонна, увенчанная крылатой фигуркой с крестом, а по бокам расходились веером нарядные незнакомые здания. Мальчик был здесь впервые, на этой круглой площади, расчерченной штриховыми линиями непонятого назначения, но ему казалось, что он просто забыл ее и сейчас нужно попытаться вспомнить, когда его сюда приводили. Он взглянул на мать. Она торопливо шла сбоку на фоне зеленоватого здания, озираясь по сторонам, потому что машины разъезжали по площади в самых замысловатых направлениях и нужно было постоянно остерегаться. На площади лежал старый грязный снег. Он был собран в небольшие холмики и гряды, а чистые места поблескивали на солнце ледяной корочкой.

День был хмурый и ветреный. Золоченый шпиль, по направлению к которому они с матерью шли, тускло светился, а наверху рассекал пробегающие облака крохотный резной кораблик. Все было почти знакомо, так всегда бывает во сне, и ничего страшного не предвиделось, хотя лицо матери не нравилось мальчику. Оно дергалось через каждые несколько шагов, будто кто-то связал моришки у глаз в узелок и потягивал за этот узелок, когда ему хотелось.

Вдруг над площадью потемнело. Ветер принес откуда-то газетный лист и погнал его перед ними, то раскрывая, то складывая. Мальчик взглянул вверх и увидел в облаках нечто постороннее – какие-то темные полосы, размытые, нечеткие, но, несомненно, составлявшие единый рисунок, потому что двигались они все разом. Еще через секунду он сообразил, что рисунок похож на человеческое ухо, вернее, на часть его, так как все ухо не поместилось бы на небе. Он даже различил несколько черных волосков, торчащих из ушной раковины, но тут ухо исчезло, и на его месте появились изогнутые черные линии толщиной в заводскую трубу, которые расходились в стороны, оставляя в центре пустое место. В этом пустом месте образовались цветные круги, тоже неясные и блеклые, и тут мальчик узнал человеческий глаз, вглядывающийся сверху в площадь с несомненным интересом и удивлением. Мальчик прижался ближе к матери, поскольку испугался глаза во все небо, но неотрывно продолжал смотреть вверх. Они как раз проходили мимо каменной колонны, и мать, мельком взглянув на мальчика, отрывисто бросила:

– Закрой рот! Простудишься.

В это время глаз удалился, провалившись в облаках, зато прямо из зенита над макушкой крылатой фигурки с крестом на площадь стремительно надвинулись три огромных бледных пальца, сложенных в щепотку. Мальчик увидел блестящие ногти, коротко остриженные, и сеточку линий на пальцах – большим, указательном и среднем. Каждый палец был раза в четыре толще каменной колонны, к которой они тянулись. Пальцы осторожно ухватились за кончик колонны, за крест над крылатой фигуркой, и произвели легкое вращательное движение, как если бы площадь была волчком, а каменная колонна его осью.

И сразу же площадь качнулась, наклонилась и стала раскручиваться, уходя из-под ног, здания по краям ее побежали, сменяя одно другое, и золоченый шпиль с корабликом вспорол облака. Мальчик не успел ухватиться за руку матери, протянутую ему. Он оторвался от мостовой и полетел вверх, оставляя сбоку шестерку бронзовых коней с колесницей и с недоумением ощущая, что порвалась ниточка. Что за ниточка – он не мог бы сказать, но эти слова мелькнули: «Ниточка порвалась, лопнула...» И в ту же секунду мальчик проснулся.

Несколько мгновений он неподвижно лежал в кровати, успокаиваясь, пока не почувствовал, что ниточка не восстановилась. Все в комнате было на месте – платяной шкаф, секре-

тер, аквариум на подоконнике, – и все было видно, несмотря на темноту, но ощущение зыбкости осталось.

Из-под двери пробивалась полоска света. Видно, мать еще сидела в кухне, дожидаясь прихода отца.

Мальчик осторожно отогнул край одеяла и спустил ноги на пол. Нет, ничего не изменилось. Пол будто уходил из-под него, и он надавил на колени руками, чтобы почувствовать его прочность. На секретере громко тикал будильник. Мальчик встал и сделал несколько шагов к окну. Он взглянул в окно сквозь аквариум и увидел сонных рыб, плавающих в звездах. Мальчик встал на цыпочки, чтобы взглянуть поглубже вниз, и уперся лбом в холодное стекло аквариума. Рыбы испуганно метнулись от него.

Там, внизу, искаженные водой, водорослями и тенями рыб, плыли вереницы огней. Мальчик затаил дыхание, наблюдая за ними. Вокруг было только небо в звездах, а там, далеко внизу, перемещались огоньки, будто шла под звездами неостановимая процессия.

Стараясь не шуметь, мальчик подтащил к окну стул и взобрался на него. Теперь он мог смотреть вниз поверх аквариума. Картина несколько прояснилась. Он различил проплывающие внизу дома, разведенные мосты, улицы с фонарями, а на улицах разглядел одинокие маленькие автомашины, которые ползали, как букашки. Мальчик однажды в своей жизни летал на самолете, но сейчас испытывал совсем другое ощущение. Бесшумный и мягкий полет привел его в оцепенение, и он, опершись обеими руками на край аквариума, завороченно следил за картиной ночного города.

Город, родина моя! Здесь я родился и умру, среди составленных в ряды домов, под одинокими фонарями набережных. Его чугунные мосты отзовутся на слабый шелест моих шагов, его улицы сохраняют адреса друзей, когда их самих уже не будет, а стекла витрин, отразивших мою жизнь, равнодушно взглянут на новых прохожих, вымытые прилежными весенними мойщиками. Здесь в норах каменных зданий живут великолепные и жалкие существа – моя забота, люди, – завоевывающие в житейской борьбе квадратные метры жилплощади, люди рождающие и любящие, люди ненавидящие и смеющиеся, люди как люди, что там говорить!

Все они сейчас спят, когда мальчик у окна смотрит сверху на город.

Они спят на Петроградской стороне, на всяких Бармалеевых, Разночинных, Подковыровых улицах, и на Васильевском острове вдоль бесчисленных линий. Одни из них лежат в постелях параллельно линиям, другие перпендикулярно. Немногие лежат под углом. Люди ориентированы городом, его параллельными и перпендикулярными стенами, и редко кто может позволить себе вольность спать так, как захочется, обратив голову к своей звезде».

– Вот так я писал, милорд. Несколько высокопарно, но без витиеватости...

– Гм...

– Скоро, очень скоро мы побеседуем о причинах и следствиях упомянутых уже странностей, а сейчас я спешу вернуться на улицу Кооперации, чтобы взглянуть на обстановку с третьей стороны – глазами кооператора Валентина Борисовича Завадовского и его собаки, фокс-терьера Чапки.

Глава 2. Не выгуливайте собак ночью!

Кооператор Завадовский жил в первом подъезде нашего дома, на пятом этаже, занимая с женой двухкомнатную квартиру № 34. Дети четы Завадовских давно встали на ноги, и теперь с ними жила собачка – фоксик Чапка, сучка восьми лет, беловато-серой масти.

Валентин Борисович и Клара Семеновна были цирковыми артистами на пенсии. Когда-то они выступали с номером «Необыкновенный велокросс» и разъезжали по арене на велосипедах, имевших по одному колесу и седлу на длинной железной палке, руля же не имевших, а последние двенадцать лет жили в свое удовольствие, занимаясь мелким приработком по обслуживанию собак. Клара Семеновна умела стричь пуделей, а Валентин Борисович бесподобно готовил собачьи супы, так что в квартире Завадовских постепенно образовалось нечто вроде пункта питания окрестных собак, который временами трансформировался в собачью парикмахерскую. Разумеется, собаки обслуживались не бесплатно, но и не слишком дорого; во всяком случае, кооператоры из нашего дома и трех точечных, что стояли напротив, были рады отчислять из своей зарплаты кое-какие суммы в пользу Завадовских, лишь бы любимые (и весьма породистые!) их собачки имели вкусные супы и были красиво пострижены.

Подрабатывали супруги и торговлей щенками-фоксиками, которых ежегодно приносила неугомонная сучка Чапка, но это уж сушая мелочь... пятьдесят рублей за щенка... у Чапки родословная!.. пять медалей! А попробуйте уберечь собачку от криминальной случки с какой-нибудь бродячей дворняжкой! Попробуйте найти ей достойного партнера, интеллигентного, с хорошей родословной, смазливенького (раньше Завадовские водили Чапку к профессору Кремневу, но вот уже два года водят к зубному технику Фишман – это дальше, но у фокса Фишман лапки будто в черненьких варежках и медалей на одну больше)... Словом, никакие деньги не достаются зря, и я не хочу бросить и тени подозрения на достойных супругов.

Соседи по лестничной площадке, конечно, были не в восторге, но... Какие соседи и когда были в восторге от своих ближних, живущих за стенкой?

– Да, если они живущие. Только на кладбище соседи не ссорятся между собою.

– Как знать, милорд!

– Я вам точно говорю.

Валентин Борисович был ростом мал, худ и похож на мальчика с длинным повисшим носом, а Клара Семеновна, напротив, походила на тыкву, разве что складочки располагались не по вертикали, а горизонтально. Характер у нее был громкий и общительный, тогда как у ее супруга – тихий и робкий. На этом несоответствии строилась не только семейная жизнь Завадовских, но и комизм циркового номера, когда они крутили педали каждый своего колеса, но в последние годы комизма никакого не получалось, и маленький сухонький Завадовский все чаще был выметаем из квартиры мощным дыханием супруги, чтобы без усталости колбасить по магазинам, по знакомым-клиентам или в поисках шампуня для собак.

Чапку тоже всегда выгуливал Валентин Борисович, причем в порядке вещей были ночные выгулы, когда он, проснувшись среди ночи от храпа Клары Семеновны и будучи не в силах заснуть вновь, цокал зубом, отвернувшись от своей половины, и сразу же слышал легкое и звонкое клцанье когтей Чапки, спешившей по паркету на зов хозяина. Завадовский поднимался с двуспального ложа – немыслимо мягкой и почему-то египетской перины, – набрасывал прямо на пижаму пальто, засовывал ноги в меховые полусапожки и трусил с Чапкой по лестнице вниз, стараясь двигаться бесшумно.

Лифт работал и ночью, но в поздние часы Валентин Борисович лифтом не пользовался никогда, опасаясь шумом его моторов обеспокоить соседей.

Вот и в описываемую нами ночь, часа в три или около того, когда все дома на улице Кооперации погружены были во мрак, Валентин Борисович, как всегда, в пальто, накинута на

бежевую в полосках теплую пижаму, без шарфа, но в шляпе, вышел, сопровождаемый Чапкой, из подъезда и глотнул ночной весенний воздух.

Наш дом спал. Ряды темных окон отливали глубокой синевой, лишь высоко над четвертым подъездом, на девятом этаже, слабо светился желтый прямоугольник – то ли ночник там горел, то ли свеча. Скорее, все же свеча, потому что окно едва мерцало, будто от колеблющегося огонька, и этот неверный свет вдруг породил у Валентина Борисовича мгновенную тревогу, которую он тут же подавил, ибо для нее не было никаких решительно оснований.

Надо сказать, что и собачка вела себя беспокойно: скулила, не помчалась, как обычно, на спортивную площадку, что находилась неподалеку, а сиротливо жалась к ноге хозяина, к пижамным полоскам, взглядывая на Завадовского снизу преданно и тревожно. Следовало бы обратить на это внимание, но... Завадовский нагнулся, поднял Чапку на руки и зашагал через улицу к площадке, окруженной кустами и деревьями – голыми в это время года.

Там он опустил Чапку на землю, фоксик шерстяным клубочком покатился к кустам, принялся обнюхивать стволы, потом присел на задних лапках... Завадовскому вдруг нестерпимо захотелось тоже («Холодно, черт побери! Как я раньше не подумал?») – в общем, как говорится, приспичило.

Валентин Борисович, боязливо оглянувшись, зашел за трансформаторную будку, что находилась рядом с площадкой, так чтобы из окон дома, не дай бог, не смогли его увидеть (кого он боялся? Кооператоры смотрели уже третьи сны!), нетерпеливо расстегнул пальто и...

...Тут дрогнула земля, воздух сместился всею массой, и прошел под землю гул, отчего Завадовский втянул голову в плечи, а Чапка со звонким и яростным лаем бросилась куда-то в сторону.

Валентин Борисович не смог сразу остановить физиологический процесс; он лишь зажмурился и чуть согнул колени, а в воздухе возник вихрь, сорвавший с Завадовского шляпу. Это продолжалось всего несколько секунд, после чего земля дрожать перестала и атмосфера успокоилась, только лай Чапки не затихал.

Вполне уверенный в каком-то случайном порыве погоды, в гигантской кратковременной флуктуации атмосферного давления (Завадовский не знал этого слова, зато я знаю, милорд), бывший артист цирка вышел из-за будки, застегивая нижние пуговицы пальто, да так и окаменел, обращенный лицом к месту, где только что стоял его дом. Дома не было!

Завадовский понял это сразу, ибо ночь была не столь уж темна, небо безоблачное – и луну было видно, а вернее, стало видно после того, как исчез дом. Она стояла низко над горизонтом, приближаясь к полнолунию. Поэтому Валентин Борисович не стал протирать и пялить глаза, а поспешил к месту, где пять минут назад находились двери его подъезда и где сейчас возле бетонного крылечка крутилась волчком Чапка, не переставая издавать горестные собачьи звуки.

Он почти бегом преодолел несколько десятков метров, взбежал на две ступеньки крыльца и... остановился как вкопанный, тяжело дыша, с жестом отчаяния: скрюченные пальцы перед обезумевшим лицом.

Прямо под ним открывалась бездна – так ему показалось, – хотя при втором взгляде обнаружилось, что до бездны далеко. Скажем так: провал глубиной метра два. Валентин Борисович повел очами и увидел огромную прямоугольной формы яму, в точности повторявшую своими очертаниями размеры дома в плане. В яме находился как бы лабиринт из бетонных плит и панелей, между которыми тянулись разного сечения трубы, провода, какие-то мостки были проложены – пол в лабиринте был земляной... Прошло еще несколько секунд, прежде чем Завадовский догадался, что видит перед собою фундамент собственного дома и его подвалы, дотоле скрытые от глаз самим домом. В подвалах кое-где сохранились кучи строительного мусора, тянулись сети инженерных коммуникаций: водопровода, газа, электрические кабели.

Было такое впечатление, будто дом аккуратно сняли с фундамента и куда-то унесли.

– Но куда? Что за шутки! Ночью! Без предупреждения! – Завадовский почувствовал сильнейшее негодование.

Он услышал вдруг, что в стороне, в районе второго подъезда, журчит вода. Завадовский, снова подхватив собачку на руки, бросился по кромке ямы на звук, осыпая в открытые подвалы свежие комья глины. Из трубы, уходящей в землю, хлестала вода, сверкая брызгами в лунном свете и постепенно заполняя отсеки подвалов. Как ни был Завадовский слаб в инженерии, он все же догадался, что видит главную артерию, посредством которой дом связывался с сетью водопровода. Между прочим, конец артерии был грубо обломан.

Тут же мелькнула мысль о газе, который тоже вырывается на свободу где-то рядом – невидимый, но опасный... и электричество!.. вон, вон оно трещит голубыми искрами, уходя в развороченную землю! Где дом? Где он? Куда девался?!

Катастрофа!!!

Завадовский обратил взор к небу, как бы посылая упрек Господу Богу, и тут только увидел высоко над собою черную прямоугольную тень, которая плавно удалялась к горизонту, имея в правом верхнем углу светящийся желтый квадратик. Завадовский сразу узнал – не удивился, но заплакал, прижимая Чапку к груди, – дом! Дом улетающий! Возьми меня с собою!.. Не слышит...

Впрочем, необходимо было хоть что-то предпринимать.

Цирковые артисты – люди тертые, и Валентин Борисович не был исключением (собачьи супы – тому лишнее подтверждение). Поэтому, проводив прощальным взглядом улетающий с Кларой Семеновной кооперативный дом, он опустил взгляд на грешную землю и увидел телефонную будку, которая располагалась ранее у третьего подъезда, а сейчас, естественно, торчала на самом краешке ямы, слегка покосившись. Завадовский побежал дальше по кромке, суетливо роясь в карманах в поисках мелочи, как вдруг его осенило: мелочи не нужно!

– Мы же в милицию звоним, Чапа... монетка нам не нужна... Верно, Чапа? – бормотал Валентин Борисович, подбегая к будке.

На удивление, телефон работал – гудок был! Завадовский поспешно набрал 02 и только тут сообразил, что не знает, какими словами будет звать о помощи.

Разговор с дежурным был следующий (протокольный вариант).

– Дежурный УВД слушает.

– Говорит Завадовский... У нас несчастье!

– Что случилось?

– Дом... Пропал дом... Исчез!

– Что значит – исчез?

– Улетел... Я сам видел!

– Гражданин, проспитесь!

Последняя фраза была произнесена с интонацией прямо-таки металлической, после чего в трубке последовали частые гудки. «Не верят нам, Чапа!» – горестно вздохнул Валентин Борисович, но отступать было некуда – он снова набрал 02.

– Дежурный УВД слушает.

– Я вас умоляю – не вешайте трубку, – горячо начал Завадовский. – Говорит пенсионер Завадовский, заслуженный деятель искусств республики, член партии с одна тысяча девятьсот пятидесятого года, проживающий по адресу...

– Гражданин, короче. Что случилось?

– ...проспект Кооперации, дом одиннадцать, квартира тридцать четыре, – выпалил Завадовский. – Я прошу прислать наряд милиции и разобраться на месте.

– В чем?

– Хищение социалистической собственности в особо крупных масштабах! – крикнул Завадовский в трубку.

– Магазин, что ли, грабят? – спросил дежурный. – Повторите адрес...

Завадовский повторил адрес и свою фамилию.

– Пришлем патруль, – сказал дежурный.

И лишь только Валентин Борисович с Чапкой покинули телефонную будку с чувством исполненного гражданского долга, как она, клонившаяся до того, как Пизанская башня, чрезвычайно медленно, вдруг набрала скорость и опрокинулась в подвал, оборвав провода телефонной сети. Раздались громкий всплеск и вой Чапки.

– Ничего, Чапа, ничего... – шептал Завадовский. – Сейчас приедут, разберутся...

Он отправился к своему подъезду и там принялся рассказывать перед несуществующими дверями, постепенно приводя себя в состояние языческого транса. Со стороны могло бы показаться, что странно одетый человек с торчащими из-под пальто пижамными брюками шаманит среди ночи перед разверстой ямой. Сходство усиливали газовые факелы, вспыхнувшие тут и там от электрических искр. Но улица Кооперации была пустынна, а соседние дома темны.

Обрывки самых разнообразных мыслей и воспоминаний теснились в мозгу бедного кооператора: вспоминался цирк, громкие выезды на арену под звуки фанфар... и Клара – пухленькая, веселая, неунывающая Клара, будто слитая воедино с одноколесным аппаратом, посылающая публике восторженные комплименты... Где она? На небесах! Ужасно! Ужасно!.. Лезли откуда-то со стороны, как тараканы, мелкие и многочисленные мысли о возможных последствиях исчезновения дома и Клары (Завадовский сразу и бесповоротно решил, что это – навсегда). Например, хотя и жаль было вещей и гардероба и вставал вопрос о необходимости начинать все сначала, все же прокрадывались и приятные мыслишки... не так уж он стар... а что, если... Да-да, несомненно, найдется женщина... а можно вернуться к Соне. (С Соней Лихаревой, дрессировщицей собачек, была связана у Валентина Борисовича одна давняя романтическая история, весьма быстро и умело пресеченная решительной рукою Клары.)

Но Завадовский, к чести ему будь сказано, быстро справился с неуместным одушевлением и, раскачиваясь и завывая на луну, предался долгой великолепной скорби, из которой его вывел зеленый огонек такси, вспыхнувший вдруг у дальнего, четвертого подъезда.

– Это приехал Демилле, милорд. Шофер выключил счетчик, и одновременно включился зеленый фонарик: «Такси свободно».

– Я догадался.

Валентин Борисович перестал раскачиваться и настороженно взглянул на такси. Согласитесь, после пережитого им любую новость воспринимаешь подозрительно! Из такси выскочила фигурка человека и бросилась к яме... там остановилась как вкопанная... Выскочила следом другая фигура, подошла к первой, тоже остановилась. Последовала пауза, после чего фигуры начали разговор, причем обрывки фраз долетали до Завадовского: «Адрес?.. Тот адрес!.. Пить нужно меньше... Деньги есть?..» Одна из фигур протянула что-то другой... Хлопнула дверца, взревел мотор. Такси развернулось и уехало в ту же сторону, откуда появилось.

Завадовский хотел было подойти к товарищу по несчастью (он уже понял, что оставшаяся у ямы одинокая фигура – товарищ по несчастью, сосед, ближний), но увидел в конце улицы два мигающих синих огонька, которые быстро приближались к месту происшествия. Валентин Борисович испытал мгновенную радость победы: как в кино – Чапаев вылетает из-за холма впереди эскадрона, бурка на нем развевается – наши! наши подоспели! Завадовский еще крепче прижал Чапку к груди, на глаза ему опять навернулись слезы. Нервный был человек!

...И побежал навстречу милиции, забыв о ближнем, который внезапно исчез из поля зрения, как сквозь землю провалился. Но Завадовский этого и не заметил. Он бежал со слезами на лице, ослепленный светом фар, точно бабочка на огонь. Чапка лаяла у него в руках – было холодно, ветер свистел в ушах. Еще полчаса назад этот человек спал на мягкой и теплой египетской перине, имел дом, жену... Сейчас у него осталась байковая пижама, полусапожки, пальто и собачка. Шляпа куда-то укатилась. Ни документов, ничего!

Передняя патрульная машина резко остановилась, и из нее высыпались три или четыре милиционера, которые, не мешкая, подскочили к Завадовскому и на всякий случай схватили его за руки, слегка заломив их назад, причем Чапка ухитрилась куснуть одного из милиционеров, тут же выпала из рук Завадовского и принялась чертить петли вокруг форменных серых брюк, заливаясь злобным лаем.

– Куда бежите? – быстро задал вопрос начальник патруля, лейтенант милиции.

– К вам... – тихо выдохнул Завадовский. – Я Завадовский. Я звонил.

– Что случилось?

– Дом... дом... – прошептал Валентин Борисович и кивнул головой в сторону ямы, ибо руки у него были крепко прижаты к спине.

– Где дом?

– Здесь был мой дом! – в отчаянии крикнул Завадовский. – Да отпустите же руки!

Милиционеры отпустили руки по кивку начальника, но остались стоять тесно к возможному нарушителю.

– Вот здесь стоял дом! – резко повернулся на каблуках кооператор и, протянув обе руки вперед, направился к яме.

Милиционеры двинулись за ним.

– Представляю их состояние. Они, должно быть, подумали, что перед ними помешанный!

– Ах, милорд, никогда не знаешь, о чем думает милиция...

Процессия приблизилась к фундаменту, и все милиционеры дружно заглянули вниз, в отсеки подвалов, куда по-прежнему не спеша прибывала вода. Две патрульные машины бесшумно подъехали сзади. Воцарилось недоуменное молчание. Более всего милицию смущала вода, бьющая из трубы, – вода была явным беспорядком. За исключением этого и, быть может, факелов, ничего особенно страшного не наблюдалось. Ну фундамент... нулевой цикл... стройка как стройка.

– Вы утверждаете, – начал, кашлянув, лейтенант, – что здесь раньше стоял ваш дом? Вы здесь жили?

– Да! – с вызовом сказал Завадовский.

– Где? Когда?

– Сегодня! Только что! Здесь стоял девятиэтажный дом! Дом номер одиннадцать по улице Кооперации! – кричал, как глухим, Завадовский.

– А где же он теперь? – спросил несколько сбитый с толку лейтенант.

– Не знаю! Улетел! – патетически воскликнул кооператор.

– Вот что, гражданин, вам придется проехать с нами, – хмуро, скучным голосом (он уже знал, чем пахнут дела с сумасшедшими) сказал лейтенант.

– Но за что? – возмутился Валентин Борисович, будто не понимая, что если милиция не возьмет его с собою, то делать ему ночью на улице будет решительно нечего.

– Там разберемся, – сказал лейтенант классическую фразу. («Почему классическую?» – «Все милиционеры ее говорят».)

Помощники лейтенанта теснее сплотились вокруг Завадовского, еще один поймал Чапку, сжал ей мордочку ладонями, чтобы она не лаяла, и все двинулись к машине ПМГ.

– О Господи! А это еще что?

– Народ зовет эти машины «помогайками», но официальная расшифровка аббревиатуры – «патрульная милицейская группа».

В это мгновение из первой «помогайки» высунулась голова водителя в серой шапке:

– Товарищ лейтенант! Вас к рации! Срочно!

Начальник патруля ускорил шаг и скрылся в машине. Милиционеры подвели Завадовского к задним дверцам «помогайки» и остановились, ожидая дальнейших распоряжений. Начальник вел переговоры по рации минуты три. Когда он вновь появился из машины, лицо

его было глубоко озадаченным и слегка испуганным, несмотря на форму. Он снял шапку и вытер вспотевший под нею лоб.

– Как вас по имени-отчеству? – обратился он к Завадовскому.

– Валентин Борисович.

– Прошу прощения, Валентин Борисович... – при этих словах помощники, придерживавшие Завадовского за локотки, сами собою отодвинулись, как дверцы метрополитена. – Мы попросим вас поехать с нами, у нас есть для вас важные сведения. Архипов! Останешься на посту у дома... то есть здесь. Никого к яме не пускать! Скоро приедут строители, поставят забор. И аварийные службы... Валентин Борисович, никто больше не видел, как дом... э-э... улетел? Свидетелей, кроме вас, нет? – спросил лейтенант.

На миг перед глазами Завадовского мелькнули фигурки людей у такси с зеленым огоньком, но тут же мысль, что признание задержит операцию, заставит бедных милиционеров искать неизвестного ночного пассажира... на холоде... нет! Завадовский был человек тертый.

– Не заметил, – осторожно сказал он.

Дверцы распахнулись, и Валентин Борисович, бережно поддерживаемый милиционерами, шагнул в темное нутро ПМГ. Туда же сунули и Чапку. Бывать здесь ранее Завадовскому не приходилось. Он на ощупь обнаружил низкую скамеечку у борта и уселся на нее, поглаживая Чапку. Только тут он заметил грузную фигуру в милицейской форме напротив себя. Фигура шумно вздохнула, обдав Завадовского густым запахом табака.

– Ну шо, допылся? – добродушно спросила фигура, взглянув на торчащие из-под пальто пижамные брюки.

– Хвыленко, придержи язык! – прикрикнул начальник снаружи. – Товарищ едет свидетелем.

– А я шо... – невозмутимо отвечивал Хвыленко.

Дверцы захлопнулись, погрузив кооператора, Хвыленко и Чапку в полнейший мрак, начальник патруля уселся рядом с водителем, и первая машина помчалась по пустой улице. На месте происшествия остался пост: два милиционера по углам фундамента. Вторая патрульная машина принялась медленно объезжать близлежащие закоулки. Она была похожа...

– Знаете, милорд, в наших сказках часто повторяется прибаутка: «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Вот и эта машина... Такой она имела вид.

Глава 3. Возвращение блудного сына

С подступом пятым «Об авторских амбициях», отступом третьим «О бездомных» и отступом четвертым «О системах»

- Не правда ли, эффектное название у этой главы, милорд?
- Не нахожу.
- Ну почему же? Во-первых, она указывает на знакомство автора с библейскими сюжетами или хотя бы с великой картиной Рембрандта... Вы знали этого художника?
- При жизни – нет.
- При чьей жизни? При его жизни?
- Молодой человек, я не люблю бестолковых учеников. Как я мог знать или не знать Рембрандта Харменса ван Рейна при его жизни, если тот умер за сорок четыре года до моего рождения? Я не знал его при своей жизни, вот что я хотел сказать!
- Следовательно, вы вообще ничего о нем не слышали?
- Почему же? Почему же? Вот и верь после этого потомкам! Кто, как не вы (я говорю не о вас лично, но о потомках), объявили меня бессмертным – видит Бог, я этого не просил! Так что же теперь прикажете делать, если сочинять романов я не могу? Естественно было знакомиться с вашими достижениями (я опять не о вас лично), восполнять пробелы образования, наблюдать – куда и по каким каналам движется ваша мысль («Я понял, милорд, что вы не о моей мысли лично». – «Вот-вот»), прорастают зерна, брошенные в почву предками, в том числе мною. Этим я и занялся... Кстати, название предыдущей главы весьма напоминает мне начало великолепнейшего романа вашего соотечественника... Да вы его знаете! Честно сказать, вы больше смахиваете на него, чем на меня. Там похожая фраза тоже стоит в названии главы, но не второй, как у вас, а первой.
- Значит, вы обо всех наслышаны...
- И начитан.
- И Гоголя знаете?
- Только не напоминайте мне о Гоголе! Спору нет, писатель он гениальный, но ведь покрадывал, покрадывал... Александр Сергеевич ему дарил – это куда ни шло, а у других ведь брал и просто так.
- Учитель, вы ошибаетесь. Я могу положить голову...
- Поберегите ее для других целей! Николай Васильевич написал повесть «Нос». Помните? У вас еще до сих пор удивляются, как он смог такое придумать. А теперь взгляните в мой роман и перечитайте главу о носах. Готов держать пари, что Гоголь один из моих носов позаимствовал, пользуясь тем, что автор я в вашем отечестве неизвестный (и до сей поры), что фантазмагория, мол, все спишет... Короче, я обижен.
- Неужели даже бессмертие не освобождает нас от страстей и амбиций?
- Кого это «нас»? Выражайтесь точнее. Меня и Гоголя не освобождает, а вас пока не спрашивают.
- Простите... Эх, милорд!... Я и представить себе не могу, что нашу беседу прочтет когда-нибудь серьезный критик... Знаете, такой... Шибко серьезный, как говорится... И в его мозгу размером с грецкий орех вспыхнет маленькая молния негодования.
- Вы их не любите? Критиков?
- А вы, можно подумать, их любили! Тех, кто меня понимает, – люблю. Но их мало. Гораздо больше «грецких орехов». Они полагают, что начитанность дает им право учить писа-

телей – как тем писать. И тогда вместо попытки понять писателя возникает желание помять его, перекроить и постричь под одну гребенку со всеми.

– Да, но вы забыли сказать «во-вторых».

– Что «во-вторых»? Не понимаю.

– Переверните страницу назад. В третьей строке главы у вас написано «во-первых». А где же «во-вторых»?

– Спасибо, милорд! Что бы я без вас делал?.. А во-вторых, название эффектно еще и потому; что намекает как бы на финал истории, на счастливый или по крайней мере благополучный ее исход...

– Но у вас только все начинается!

– Вот именно. Тем не менее название главы точное. Являясь одной из начальных глав нашего романа, она могла бы стать и последней главой другого романа из жизни Демилле...

– Значит, Демилле – «блудный сын»?

– ...сюжетом которого стала бы жизнь и распад большого семейства родителей Евгения Викторовича; повзросление детей – самого Демилле, его сестры и брата, старость родителей, смерть отца, запустение, забвение родственных связей, холод... одиночество.

– Скажите, как интересно!

– Не иронизируйте, милорд. Это совсем не смешно. Комок подступает к горлу, когда я вспоминаю счастливые дни семейства Демилле: достаток, радость, полный дом друзей, праздничные застолья, ухоженные дети, прекрасная квартира... Солидность! А теперь... жалкие остатки благополучия, безденежье и... бесчестье. Увы, милорд! Бесчестье. Я не оговорился.

– А что эти Демилле... почему... почему такая фамилия?

– Об этом позже, милорд. А сейчас вернемся к нашему герою, оставленному нами, как говорится, «у разбитого корыта» – в ночи, пьяным (начинающим трезветь), растерянным, озябшим... Скорее, скорее за ним! Посему я кончаю на этом очередной подступ и перехожу к тексту главы.

Демилле нашел в кармане десятку, не думая, механически мял ее в руке, смотрел на водителя с надеждой... может быть, поможет, объяснит?.. Водитель грубо вырвал деньги, ушел. Взревел за спиной Демилле мотор, машина развернулась, уехала. Евгений Викторович остался стоять перед ямой с бетонными плитами. Откуда там взялась вода?.. Он ничего не соображал.

Его вывел из оцепенения ровный механический звук, доносившийся со стороны проспекта Благодарности. Демилле повернул голову и увидел две милицейские машины с мигалками. Они приближались к месту катастрофы. «Паспорт!» – крикнул кто-то посторонний в голове Евгения Викторовича, и он принялся в растерянности хлопать себя по карманам, хотя знал точно – паспорта при нем не было. Зачем и почему понадобится паспорт, Демилле сказать бы не мог, но чувствовал – понадобится.

Им овладел испуг. Он вдруг представил себя на месте милиционеров, прибывших расследовать загадочное исчезновение дома. (Целенаправленность, с какою приближались машины ПМГ, не оставляла сомнений: едут расследовать.)

Дом исчез неизвестно куда. Рядом с фундаментом подозрительный и выпивший субъект без паспорта, без денег, в липком почему-то плаще... А не причастен ли он к беспорядку? Милиция, по всем расчетам Евгения Викторовича, не могла его не арестовать.

– Арестовать? За что?!

– Успокойтесь, милорд! Какие вы, право, англичане, чувствительные к гражданским свободам! Никто не собирался его арестовывать. Могли задержать, вот и все. Не более чем на три часа. Экое дело!

Тем не менее в сознании Демилле, взбудораженном невесть откуда свалившимся несчастьем, очень ясно обозначилось: «Заберут!» Он шмыгнул в сторону, огибая яму, перепрыгнул

через низенький заборчик детского сада и, недолго думая, укрылся в короткой бетонной трубе сечением в человеческий рост, то есть почти в человеческий рост, так что стоять в ней Евгению Викторовичу пришлось согнувшись. Труба эта была положена на детской площадке специально для увеселения детей. Если бы в тот миг кто-нибудь увидел Евгения Викторовича, то наверняка заподозрил бы в злом умысле. В самом деле – ночью, на игровой площадке детского садика, в отрезке бетонной трубы неподвижно стоит скрюченный мужчина... А? Каково? Забрать его, и делу конец!

Но Евгения Викторовича, к счастью, никто не видел. Спал ночной сторож детсада (аспирант кафедры теоретической астрофизики Костя Неволяев), спали жильцы окрестных домов, а прибывшая милиция достаточно была отвлекаема кооператором Завадовским и исчезнувшим домом. Демилле слышал доносившиеся оттуда голоса, особенно громко прозвучала фраза: «Здесь был мой дом!» – которую выкрикнул высокий мужской голос. Демилле вздрогнул; до него стало по-настоящему доходить, что все случившееся – не шутка, не сон, не галлюцинация; дом исчез! стерт с лица земли! А сын? А жена?... «Так тебе и надо!» – вдруг жестко выговорил внутри тот же посторонний голос, который кричал о паспорте. «Допрыгался...» – подумал Демилле уже самостоятельно.

Он дождался, покуда первая машина уехала, а вторая развернулась и юркнула вглубь жилого массива, и только потом вылез из трубы. За оградой детского сада, у края разверстой ямы, виднелась статная фигура милиционера. Он стоял спиной к Евгению Викторовичу. Демилле, чуть пригнувшись, как на поле боя, простреливаемом противником, сделал короткую перебежку за угол детсада, выглянул из-за него и, убедившись, что фигура не изменила ориентации, побежал к заборчику. Перемахнув его, Евгений Викторович благополучно скрылся в ночи среди однообразного ландшафта.

Только-только отдышавшись, он начал соображать, куда идти дальше. Ну хорошо, от милиции он ушел, но ведь надо где-то переночевать, а точнее, допочевать, потому что дело близилось уже к утру...

– И где же он ночевал? В ночлежке?

– Что такое «ночлежка» в вашем понимании, Учитель?

– Это место, где можно за умеренную плату получить ночлег.

– Браво, милорд! Но у нас нет ночлежек. С ними покончено как с пережитком старого быта, поэтому о ночлежках мы знаем только по пьесе Горького «На дне».

– Где же ночуют у вас бездомные?

– У нас нет и бездомных... Правда, случается, что тот или иной человек оказывается временно бездомным. В чужом городе, когда не удалось устроиться в гостиницу... или жена выгнала... или пьян и не можешь найти дороги домой... или просто тоска, хоть волком вой, и хочется опуститься на самое дно (как у Горького, милорд) – и вот тогда возможны следующие варианты, исключая, разумеется, родственников и знакомых:

1) вокзалы; это ночлежки бесплатные, но неудобные: жесткие скамейки, того и гляди, что-нибудь уворуют, да и милиция гоняет... Официально в залах ожидания можно ожидать сидя, но не лежа;

2) ночлег у проститутки («Фи! Как грязно! Неужели у вас развита проституция?» – «Профессиональной проституции нет, но есть любительницы, которые за выпивку или небольшую плату могут предоставить в распоряжение свою комнату вместе с собою. Удовольствие, правда, грозит „чреватостью в последствиях“, как выразился один театровед, получивший подобное предложение на Лиговке в районе полуночи». – «Что он имел в виду?» – «Вероятно, ограбление, или венерическую болезнь, или то и другое вместе»);

3) вытрезвитель – это дорогое развлечение. Его могут позволить себе люди обеспеченные, крепко стоящие на ногах (фигурально, но не буквально), имеющие к тому же дефицитную специальность – токари, фрезеровщики, металлурги, слесари... Дело в том, милорд, что каж-

дый ночлег в вытрезвителе обставляется помимо платы за обслуживание рядом неприятных формальностей: штрафом за антиобщественное поведение, сообщением на работу ночующего с последующей проработкой и прочим, поэтому интеллигентам лучше там не ночевать – их могут вышибить с работы. А рабочим легче. У нас не хватает рабочих, милорд, это серьезная экономическая проблема. Неудивительно, что им стараются создать условия получше.

Как видите, выбор невелик, а удобства сомнительны. Вот почему Евгений Викторович и думать не стал про все эти вещи, спешно прикидывая другие варианты: к приятелям – неудобно. В мастерскую, от которой имелся ключ, – не хочется смертельно. Да и как доедешь? Трамваи не ходят, а денег на такси нет.

Пока Евгений Викторович размышлял, ноги сами несли его по проспекту Благодарности мимо темных окон домов. На всем проспекте горели два-три окна где-то высоко и далеко – свет забыли погасить, что ли?

Он вдруг понял, что идет к маме, к ее дому, где не был давно, месяца четыре. И с самого начала, когда, убежав от милиции, он начал перебирать варианты ночлега, ноги уже несли его туда, в старую квартиру родителей, где прошло его детство и где после смерти отца жили мать Евгения Викторовича и его сестра со своим семейством.

Поняв это, Демилле поморщился – ему трудно было бывать у матери. Упреки совести долго не давали потом покоя, будто в чем-то он был виноват перед нею – да и в самом деле был! разве свободен кто-нибудь от вины перед матерью? Где, как не там, можно преклонить голову, и покаяться, и попросить прощения, зная, что будешь прощен, и вернуть на миг незабываемый запах детства?

– В сущности, мы никогда не порываем с детством, милорд, и как величайшее счастье воспринимаем всякое настоящее в него возвращение... Не то, знаете, когда ребячливость нападает... нет, тут другое...

– Я знаю, о чем вы говорите.

– Это бывает только наедине с собою. Чаще всего у зеркала, когда с отвращением смотришь на свое взрослое лицо и вдруг стираешь его, как ненужную маску, и подмигиваешь себе – десятилетнему: «Здорово мы дурачим взрослых?» Удивительно, но понятие «взрослый» по отношению к каким-то людям сохраняется всю жизнь.

– Но если это так, если они взрослые, то кто же мы?

– Дети, милорд!

Демилле заметил впереди огонек и прибавил шаг. Он наискось пересек улицу и оказался перед железной загородкой, за которой ровными рядами стояли накрытые брезентом автомобили. Это была стоянка личных автомашин. У закрытых ворот лепилась будочка, из маленького окошка которой выбивался свет. Демилле приблизился к окошку и осторожно заглянул в него.

В будочке он увидел молодого человека с бородкой, в красной с синим синтетической куртке, усыпанной белыми пятиконечными звездами. Бородка заострялась вниз клинышком, на голове молодого человека топорщилась петушиным гребешком вязаная шапочка с надписью на ней ЛАНТИ, из-под шапочки выбивались пучки черных жестких волос.

Молодой человек сидел в старом, с продранною обивкою кресле, положив ноги на прикрепленный к стене будочки низкий столик, где под стеклом виднелись календарь, какие-то таблицы и бумажки. В руках у незнакомца была газета – как удалось установить Евгению Викторовичу, читавшему по-французски, – парижская «Фигаро».

Демилле легонько кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. Молодой человек сложил газету, поднялся с кресла и распахнул дверь будочки наружу. Щурясь и привыкая глазами к темноте, он замер в дверях. Наконец он увидел Демилле, выставил бородку вперед и произнес учтиво:

– Что вам угодно?

– Воды... – прошептал Демилле первое, что пришло в голову. – У вас попить не найдется?

– Прошу вас, – еще более учтиво ответил хозяин, распахивая железную калитку в ограде и приглашая Демилле войти. Евгений Викторович последовал приглашению. Хозяин запер калитку и тем же предупредительным жестом направил гостя в будочку.

– Садитесь... Вам воды или, может быть, желаете выпить? – сказал молодой человек, когда Демилле уселся на табуретку, втиснутую между краем столика и стеною.

– Я не... А впрочем... – Демилле запутался.

Хозяин изогнулся и вытянул из-за спинки кресла наполовину опорожненную бутылку «Каберне». Не говоря более ни слова, он извлек откуда-то стакан и чашку с отбитой ручкой, а затем разлил вино.

– Будем знакомы, – сказал он, приподнимая чашку за крохотный отросток ручки и глядя в глаза Евгению Викторовичу. – Борис Каретников.

– Евгений, – кивнул Демилле, приподымая стакан.

Фамилию свою Евгений Викторович называть не любил во избежание недоразумений: как? простите, не расслышал... Демилев? Деми... что? и тому подобное.

Они выпили. Каретников, несмотря на то что пил из чашки, да еще с обломком вместо ручки, держался исключительно элегантно и современно, на столике французская газета – курточка-то по виду американская! – меньше всего к ночному знакомцу подходило слово «сторож», хотя он был именно им.

Не зная, о чем бы потолковать с молодым человеком, Демилле задал довольно дурацкий вопрос:

– У вас здесь машина стоит?

– Разве я похож на человека, у которого может быть личный автомобиль? – возразил Каретников. – Я просто имею честь охранять эту стоянку.

– Странно... – пробормотал Демилле. – Я никак не мог предположить... Эта газета, – он указал на «Фигаро», отчего Каретников сразу приободрился и выпятил слегка грудь.

– Странно, вы говорите? – начал он с риторического вопроса. – Действительно, странно, когда человек, владеющий пятью иностранными языками, из них тремя – в совершенстве, работает ночным сторожем. Вы это хотели сказать?

– М-м-м, – Демилле пожал плечами, ибо ничего такого сказать не хотел.

А в Каретникове будто открылся клапан (один из тех, милорд), а может быть, душа в ночных бдениях истосковалась по собеседнику, но он сразу высыпал на Демилле пригоршню круглых, хорошо обкатанных слов, из которых явствовало, что Каретников – не просто ночной сторож, а ночной сторож из принципиальных соображений, поскольку не в силах найти работу, где мог бы применить знание всех пяти языков (один из них был турецкий), а размениваться на меньшее количество языков ему не хотелось. На этой почве у Бориса Каретникова наметились разногласия с системой.

– С какой системой?

– О, вы задали сложный вопрос, милорд. Он требует анализа.

Не успеваем мы переступить порог этого лучшего из миров, как сталкиваемся с огромным количеством систем, которые по отношению к нам являются внутренними, внешними или умозрительными.

Классификация моя, милорд!

Например, сердечно-сосудистая система нашего тела есть система внутренняя, тогда как система пивных ларьков Петроградской стороны, из которой – я говорю и о системе, и о стороне – несколько часов назад был буквально вырван один элемент с честнейшей тетей Зоей, есть система внешняя. Это каждому понятно. Но что такое система умозрительная?

Под умозрительной системой я понимаю плод усилий нашего разума, стремящегося связать воедино набор внешне разнородных предметов, фактов или явлений, с тем чтобы вывести

общие свойства этого набора и, окрестив последний системой, попытаться предсказать или исследовать законы, ею управляющие. В памяти сразу же всплывает Периодическая система элементов Менделеева, существующая лишь в нашем воображении, равно как и система единиц измерения физических величин, и системы стихосложения, и философские системы, и система «дубль-ве», и денежная система (уж она-то наверняка существует только в нашем воображении!), и новая система планирования и экономического стимулирования, и даже система «счастливых» трамвайных билетов.

Все это системы умозрительные.

И лишь одна система никак не укладывается в рамки моей классификации, которой суждено сыграть выдающуюся роль в науке и перевернуть взгляды философов, поэтов и системотехников. Она является одновременно внутренней, внешней и умозрительной.

Эта система – государственная.

– Тсс! Да вы что? В своем уме? Нет, если так будет продолжаться, то я слагаю с себя... Зачем мне лишние неприятности? Мне и так досталось в свое время! Я хочу дожить свое бессмертие спокойно.

– Да вы никак испугались, милорд?

– Ни капельки! Однако должен вам напомнить, сударь, что я никогда не затрагивал королевской власти. Всякая власть – от Бога. Мне хватало ослов поблизости – стоило лишь протянуть руку, и я наткался на уши. Но зачем же трогать королеву?

– При чем здесь королева?

– Ах, вы меня прекрасно понимаете...

– Допустим... Но разве я сказал что-либо предосудительное о государственной системе? Я даже не назвал конкретное государство.

– Не считайте меня идиотом. Вы что, живете на Канарских островах? Или в республике Чад? Или в Новой Каледонии? Вы живете здесь, и каждое ваше слово насчет любого государства – даже Лапуту, даже Бризании – будет отнесено сюда.

– Но я, ей-богу, ничего плохого еще не сказал.

– Как вы любите, сударь, прикидываться простачком! Вы уже сказали, что государственная система является одновременно внутренней, внешней и умозрительной. Даже если вы этим ограничитесь, то, предоставив любому разумному человеку право поразмыслить над вашим определением, вы неминуемо натолкнете его на вывод о том, что:

а) государственная система является внешней, потому что противостоит индивидууму и подавляет его свободу;

б) она является внутренней, потому что страх перед государственной машиной заложен на уровне инстинкта;

в) наконец, она умозрительна, потому что не отражает ничего реального, потому что она – фикция, игра воображения, к тому же – не нашего.

Вам достаточно?

– Достаточно, милорд. Я поражен вашей казуистикой. Таким способом можно извратить любое суждение.

– Дорогой мой, я старше вас на двести с лишним лет... Не трогайте государство, прошу вас. Что у вас – мало забот помимо него? Я вам больше скажу: литература не для этого... Свифт мне недавно признался: «На кой черт я воевал с государством? У меня был прекрасный парень – этот Гулливер, – а я, вместо того чтобы дать ему насладиться жизнью, любовью и детьми, заставил беднягу таскаться по разным Лилипутиям, Бробдинггедам и Лапуту, описывать их государственность и показывать фиги доброй старой Англии. Зачем? Ничего не понимаю!» Так сказал мне Свифт.

Друг мой, плюньте на государство!

– Ох, мистер Стерн, как бы оно не плюнуло на меня!.. Но все же я, боясь показаться назойливым, объяснюсь по поводу тройственной природы государственной системы...

– Ну как знаете. Я вас предупредил.

– Итак, государственная система, безусловно, является внешней по отношению к отдельному человеку. Ее установили без него, не спрашивая его и не интересуясь, как она ему понравится. Для отдельного гражданина государственная система – такая же объективная данность, как гора Джомолунгма (или Монблан – это чуточку ближе к вам, милорд).

Но она же является внутренней, потому что государственность впитывается с молоком матери. Однако я решительно не приемлю тезис о страхе. Внутреннее чувство от заложенной в нас государственной системы значительно сложнее. Это и восторг, и гордость, и уверенность (совокупность чего называют патриотизмом – не совсем, впрочем, правильно), и обида, и страх, и недоумение (это чаще всего именуется обывательским брюзжанием), и горечь, и стыд, и умиление, и надежда видеть свое государство сильным и сплоченным, и отчаяние.

Внутренняя государственная система стала как бы частью нашей нервной системы – и значительной! Мы так тонко чувствуем, что можно и чего нельзя в нашем государстве, что иностранцы, милорд, изумляются! Чувство это принадлежит к разряду безошибочных.

Я предлагаю мысленный эксперимент. Нужно подойти к первому попавшемуся прохожему и прочитать ему страницу текста (прозы, поэзии, публицистики), после чего спросить: возможно ли это опубликовать в нашей прессе? Ответ будет правильный, я готов побиться об заклад.

– Что же это доказывает?

– А это доказывает, милорд, что мы все мыслим государственно, мы легко становимся на точку зрения государства, мы знаем, как оно относится к той или иной проблеме. Внутренний цензор, о котором так любят рассуждать господа литераторы, на самом деле не является их собственностью. Он сидит в каждом из нас. Мы отлично знаем, что следует говорить на трибуне, а что можно сказать в семейном кругу. Мы возмущаемся писанными под копирку выступлениями трудящихся по телевидению, но позови нас туда завтра, вложи в руки текст и поставь перед камерой – и мы с искренним чувством прочитаем его в микрофон, потому что станем в тот момент частицей системы.

– Я что-то никак не пойму, куда вы гнете...

– А никуда! Я пытаюсь разобраться в сложном чувстве внутренней государственности. Упаси меня Боже от фиг в кармане или еще где! К сожалению, игривый тон все губит. Я уже объяснял, что не умею казаться серьезным. Я всегда шучу... дошучиваюсь... перешучиваю... Но никогда не отшучиваюсь, милорд! Попробуйте отшутиться от столь важной вещи, как отношение к системе!

Есть такое изречение: «Каждый народ заслуживает своего правительства». Кажется, выдумали французы. («Да, уж они выдумщики...» – «Что вы сказали?» – «Ничего, это я так...») Я бы сказал, что каждый народ заслуживает своей государственности. По-моему, это глубже, как вы считаете? Государственность является как бы одной из черт национального характера, а следовательно, не государственный строй накладывает отпечаток на нервную систему граждан, а наоборот – нервная система народа определяет существующий государственный строй.

– Гм... У вас есть философы-профессионалы?

– Навалом, милорд.

– Предвкушаю их удовольствие. Для них ваши рассуждения – лакомое блюдо. Я уже слышу хрюпанье, с которым вас сожрут.

– Что ж делать? Возможно, я думаю неправильно, но я думаю именно так.

Ну и последнее – насчет умозрительности государственной системы. Тут вы, милорд, совсем ошибаетесь. Я просто имел в виду то, что у каждого гражданина имеется в голове про-

ект идеального устройства нашего государства (мы вообще очень лично относимся к государству, вы заметили?), причем все проекты не совпадают. Посему и сама система приобретает некий умозрительный аспект. Мы тратим на обсуждение проектов уйму времени, собираясь в дружеском кругу.

– И помогает?

– Да, милорд, это успокаивает!

...Из всего вышесказанного с неизбежностью вытекает, что у Бориса Каретникова, к которому мы наконец вернулись, наметились разногласия с государственной системой, а так как она (мы это установили) является частью нервной системы, то и с последней тоже. Каретников, будучи по природе человеком неплохим, но чуточку амбициозным, посчитал во всех своих бедах виновной систему и перенес на нее обиду и гнев. С нервами у него становилось все хуже. Он хотел ближних обратить в свою веру, которой у него, по сути, не было. И глухое, неясное понимание того, что веры-то нет, а есть лишь обида, делало его еще обиженнее.

Демилле всего этого не знал. Он отметил внешнее: молодой, интеллигентный с виду человек, владеющий языками, работает сторожем на автостоянке. Евгений Викторович не любил анализировать, да и не до того ему было сейчас! Поэтому, обеспокоенный прежде всего своими несчастьями, он слабо прореагировал на излияния Каретникова, то есть не выразил должного возмущения системой, и Каретников обиженно примолк.

– А скажите, – начал Евгений Викторович после паузы, – вы не заметили нынешней ночью ничего необычного?

– В каком смысле? – насторожился Каретников.

– Шума какого-нибудь, грохота...

– Да что же случилось! Объясните! – нервно воскликнул сторож.

– Понимаете, – сказал Демилле, неловко разводя руками, ибо мешал столик, так что получилось – разводя кистями рук... – Понимаете, у меня исчез дом...

– Как? – воскликнул Каретников в волнении.

– Я приехал, а его нет. Остался один фундамент. Все оборвано, выломано... Но следов никаких – ни кирпичей, ни мусора. Не подумайте, что я пьян. Я могу показать место.

– Ну вот! Делают что хотят! – с горестной удалью вскричал Каретников, хлопая себя ладонью по джинсам.

– Кто делает? – не понял Демилле. – Вы что-нибудь знаете?

– Кто же может делать? Они!.. И вас даже не предупредили?

– О чем?

– О том, что дом собираются сносить в связи с Олимпиадой?

Демилле диковато взглянул на собеседника.

– Почему... Олимпиада? – пробормотал он.

– Ну вы же знаете все эти олимпийские прожекты. Олимпийский год – не только для олимпийцев! – сострил Каретников.

– Да не похоже на снос... – с сомнением сказал Демилле. – Очень чисто вокруг.

– Значит, Министерство обороны, – заключил Каретников. – Пригнали полк солдат и расчистили за час.

– А жильцов?

– Эвакуировали. Когда военным нужно, они это могут.

– Вы думаете? – растерялся Демилле.

– Я убежден.

– Но почему тогда не выставили охрану? Не оградили?

– Вы же знаете, как у нас все делается! – с иронией парировал Каретников.

– Что же теперь? – совсем сник Евгений Викторович.

Ему не приходила в голову мысль, что исчезновение (уничтожение?) дома могло быть государственной акцией. По правде сказать, у него вообще еще не было никакой версии. Эта была первой.

– Нужно бороться, – сказал Каретников. – Я дам вам телефон. Позвоните туда, расскажите о своей беде. Он наклонился над столиком, быстро черкнул на клочке «Фигаро», оторванном для этой цели, два телефона; под одним написал свою фамилию, а под другим – «Арнольд Валентинович Безич».

– Позвоните Арнольду Валентиновичу, он скажет, что делать. Потом позвоните мне.

– Спасибо, – сказал Демилле, принимая бумажку.

– Я могу оставить вас здесь, – предложил Каретников. – Вам ведь негде ночевать, вы устали...

– Нет-нет! – быстро возразил Демилле. – Я пойду к маме. У меня мама, знаете, не очень далеко...

Он словно оправдывался, но желание поскорей уйти из будочки было весьма сильным. Евгений Викторович откланялся, бормоча слова благодарности, вышел за калитку и снова пустился в дорогу, провожаемый долгим, озабоченным взглядом Каретникова.

Он вышел к лесопарку, отделявшему новый район от районов старой застройки. Лесопарк, по слухам, был небезопасен в ночное время, но сейчас Демилле даже не подумал об этом, а зашагал напрямик по дорожке, которая вскоре вывела его на центральную аллею, где стояли окрашенные в белую краску садовые скамейки.

Аллея была прямой, как стрела, и строго над нею, в дальнем ее конце, обозначенном четким контуром деревьев слева и справа, висела красная тяжелая луна. Демилле быстрым шагом приближался к ней по аллее – размахивал руками, часто дышал, бормотал что-то под нос – и вдруг уселся на скамейку... Лихорадочно роюсь в карманах, он извлек из них все, что там было, и стал рассматривать свое богатство в тусклом багровом свете луны. Он решил проверить, с чем же остался.

Проверка дала следующие результаты:

- 1) денег – 26 копеек;
- 2) связка ключей от квартиры (своей);
- 3) ключ от мастерской (чужой);
- 4) записная книжка с несколькими вложенными в нее бумажками, в том числе обрывком «Фигаро»;
- 5) зубочистка;
- 6) носовой платок;
- 7) пуговица от плаща (оторванная);
- 8) полиэтиленовая пробка от винной бутылки (надрезанная);
- 9) карамель «Мятная».

Евгений Викторович, вздохнув, сунул в рот карамель, а пробку выбросил, чем уменьшил свое достояние на две единицы. Он опять рассовал оставшееся по карманам и побрел по направлению к луне уже медленнее, перекатывая во рту мятную конфету. Она легонько постукивала о зубы.

«Ничего, – подумал он. – Не может быть, чтобы дом исчез бесследно. Этого не допустят. (Кто не допустит?) Видимо, простое недоразумение. (Хороши недоразумения!) Поживем – увидим!»

Он вышел из парка, пересек проспект и оказался на улочке, где прошло его детство. Здесь стояли трехэтажные домики странной архитектуры, выстроенные сразу же после войны пленными немцами. Они были выкрашены в желтый цвет. В одном из таких домиков и получил в сорок седьмом году две двухкомнатные квартирки профессор Первого медицинского института Виктор Евгеньевич Демилле с семьей: женой Анастасией Федоровной, сыновьями Евге-

нием (семи лет), Федором (трех лет) и грудной дочерью Любашей. Квартиры объединили в одну – получилась пятикомнатная за счет маленькой кухни второй квартиры (там жила домработница Наташа), – стали жить... И прожили тридцать лет до смерти Виктора Евгеньевича и еще три года после.

Евгений Викторович не жил здесь уже десять лет, с момента постройки нашего кооперативного дома, и бывал нечасто, в особенности после смерти отца. Каждый раз улочка с причудливыми «немецкими» домами казалась ему игрушечной, и каждый раз он отмечал пропажу чего-нибудь из детства: там заделали дыру в подвал, где они с братом любили прятаться во время мальчишеских игр, здесь спилили старый тополь, в ветвях которого сиживал он мальчишкой, рассматривая окрестности и слегка задыхаясь от гордости и опасности; нет уже и деревянного дома с мезонином, хозяин которого, по слухам, имел бумагу от самого Ленина, чтобы дом не сносить. Все равно снесли, а взамен ничего не построили, остались лишь обросшие мхом камни фундамента.

Проходя мимо них, Демилле вспомнил Ивана Игнатьевича, хозяина дома, бывшего конармейца, – тот еще был жив после войны; вспомнил пыльную теплую комнатку в мезонине, куда Иван Игнатьевич пускал его мастерить. Маленький Женя клеил в мезонине дом из спичек – тщательное фантастическое сооружение, – а хозяин поднимался, кряхтя, по крутым ступенькам, сидел в углу, дымил папирсой. Это происходило только летом, в каникулы. Вероятно, потому, что зимой мезонин не отапливался, и спичечный дом дожидался своего строителя долгими снежными месяцами.

Где он, спичечный дом? Где дом с мезонином?.. Ушли в небытие.

Демилле взошел на высокое, с перилами, крыльцо материнского дома, отворил дверь с тугою пружиной и, подталкиваемый ею, скользнул в подъезд. Там было темно. Он поднялся на второй этаж и тихо постучал в одну из дверей родительской квартиры (вторая давно была заколочена).

И сразу же на стук отозвался изнутри легкий шорох, будто его ждали, и голос матери тревожно спросил:

– Кто здесь?

– Мама, это я... Женя... – сказал Демилле хрипло.

Мать тихо охнула за дверью, звякнула дверная цепочка, щелкнул замок. Дверь отворилась, и Евгений Викторович увидел мать в халате поверх ночной рубашки. Седые волосы были всклокочены, мать глядела на сына снизу вверх широко раскрытыми от волнения глазами. Он сделал шаг ей навстречу и поспешно проговорил, обнимая:

– Не волнуйся, не волнуйся... Все в порядке!

– Жеша, что случилось? – спросила она, отступая.

– Ключ от дома забыл... Не хотел будить, задержался... – скороговоркой врал Евгений Викторович, пряча глаза и стягивая плащ.

Связка ключей, как нарочно, зазвенела в кармане, но мать не расслышала, поверила.

– Жеша, ну когда это кончится?! – шепотом, с горестной интонацией начала она. – Ириша волнуется, Егорушка плачет... Когда ты перебесишься, сорок лет уже... – а сама подталкивала его в кухню, к теплу, к еде.

– Ничего, ничего... – по привычке шептал Демилле и по привычке шел в кухню, к еде, к теплу.

– Я всю ночь не спала, как знала... Который час-то теперь? – уже успокоившись, шептала Анастасия Федоровна – бабушка Анастасия, как звали ее дети и внуки уже добрых десять лет.

Демилле взглянул на ходики с кукушкой, висевшие на стене в кухне. Они показывали почти половину седьмого. Евгений Викторович сел за стол, вытянул перед собою руки. Мать уже ставила на плиту чайник, разогревала кастрюльку с мясом. Внезапно распахнулась малень-

кая дверца часов, из нее выпорхнула кукушка и, щелкнув деревянными крылышками, громко пропела: «Ку-ку!» Дверца со стуком захлопнулась.

И словно по сигналу кукушки в кухню проникло босое существо ростом с табуретку, в длинной, до пят, ночной фланелевой рубашке, слегка сопливое, с черными, блестящими, как маслины, глазами и прямыми жесткими волосами. Личико было плоское и скуластое, с матовым оттенком кожи, притом – презабавнейшее, будто существо только что вынули из мультфильма.

– Ах ты, Господи! Хуянчик проснулся! – всплеснула руками бабушка Анастасия.

А названное Хуянчиком существо уже деловито карабкалось на колени к Евгению Викторовичу...

– Конец главы, милорд!

Глава 4. Свидетельства очевидцев

Что же произошло в ту апрельскую ночь в новом районе Гражданки и какие это имело ближайшие последствия? Пора задаться этим вопросом.

Как вы уже догадались, милорд, пропал кооперативный дом, с которым мы познакомились в Прологе. Как вскоре стало известно, дом снялся с насиженного места, взлетел вертикально вверх, как вертолет, после чего, развив скорость километров двадцать в час, переместился к югу, где плавно осел в районе Петроградской стороны, неподалеку от Тучкова моста, на Безымянной улице. Да-да! Именно на той Безымянной, откуда накануне вечером стартовал в космос пивной ларек с кристальнейшей тетей Зоей.

Но чтобы установить это, потребовались недюжинные усилия компетентных органов, которые начали работать той же ночью и работали долго – несколько месяцев.

У нас еще будет возможность ознакомиться с деталями расследования причин этого удивительного случая, но начнем мы, милорд, с непосредственных впечатлений свидетелей.

Мы уже знаем реакцию трех очевидцев происшествия: Евгения Викторовича Демилле, Валентина Борисовича Завадовского и сына Демилле – Егорушки Нестерова (почему он носит эту фамилию – расскажем позже). Собственно, ни один из них не был очевидцем, то есть не видел сам момент отрыва дома от фундамента и взлета в ночное небо. Демилле в это время дожидался, когда сведут Дворцовый мост, Валентин Борисович... вы помните, а мальчик попросту спал и проснулся спустя несколько минут.

Вообще неизвестно, видел ли кто старт, но сам полет и финиш видели многие.

– Если позволите, милорд, я начну с себя. Я тоже летел.

– Вы?

– Да, что здесь удивительного? Я же говорил, что жил в этом доме, дверь в дверь с семейством Демилле, но в описываемую ночь, к стыду своему, спал как сурок.

Никакие предчувствия не томили меня, сны той ночью снились малозначащие, проходные, и даже кот мой Филарет (я держу ангорского кота) вел себя исключительно спокойно. Вечером мы с ним, как всегда, выпили теплого молока, устроились на тахте перед телевизором и, грея друг друга одиноким своим теплом, смотрели вполглаза передачу «А ну-ка, девушки!» – притом обсуждали с Филаретом, какую из девушек мы смогли бы полюбить при случае, ввести в наше холостяцкое жилище, назвать женою... Девушки все, как одна, были продавщицами мороженого, и это очень нравилось Филарету. Он музыкально урчал, устроившись у меня под боком.

Так мы и уснули на тахте, укрывшись махровым халатом, когда конкурсы для девушек кончились и я выключил голубое око телевизора посредством специального дистанционного выключателя...

Бог с ним, с котом, но я... как мог я проспять самое главное!

– Позорно и недальновидно для автора спать в те минуты, когда его герои переживают крушение судеб!

– Вы правы, милорд. Но я не знал еще, что это мои герои. Я думал – так, соседи... не больше. А герои там – на великих стройках, в полях, на заводах. И что же оказалось? Оказалось, что те герои – не мои, чьи-то другие, как это ни печально, а эти люди – жалкие, смешные, глупые, мелкие и маленькие – они и есть мои герои, и я никуда не смогу от них убежать.

Но я понял это позднее.

Тогда же я, повторяю, заснул и проснулся лишь утром, часов в десять, от непонятных звуков на лестничной площадке. (В мою однокомнатную квартиру свободно проникают любые звуки, но не выходит ни один, кроме стука пишущей машинки.) Я потянулся и заметил в ком-

нате нечто необычное. Я даже не мог сначала понять. Вещи на месте... Все, как вчера вечером... Что же не так? Ага, понял!

Полоса солнечного света, которая обычно в это время года по утрам пересекала мою комнату от окна к книжным полкам, тянулась на этот раз к тахте и падала мне на лицо, так что я перво-наперво подумал, что проспал до обеда. Однако посмотрев на часы, я установил истинное время и, позевывая, подошел к окну... да так и остался стоять с открытым ртом!

Прямо под моим окном, очень близко к нему, метрах в трех, располагалась наклоненная крыша, покрашенная в зеленый цвет, местами проржавевшая, с характерными рубчиками кровельного железа, расчерчивавшими крышу на полосы. Чуть левее была труба, чердачные окна... словом, вид из окна никаким образом не напоминал мне то, что я привык видеть уже десять лет.

Солнце стояло слева, а не справа, как ему полагалось стоять. Но мне было не до солнца. Я обзрел дали и увидел только крыши, телевизионные антенны на них, трубы, карнизы... Нечего и говорить, что я удивился.

Таково было первое мое впечатление. Оно, как вы догадываетесь, запоздало по сравнению с соседскими, дом уже добрых шесть часов стоял на новом месте, уже во всех квартирах обсуждалось бедствие, а компетентные органы шурували по этажам, проводя первые дознания.

К тому часу, как я потом узнал, было известно многое.

Во-первых, летящий дом был зафиксирован средствами обнаружения войск противовоздушной обороны страны. Это совершенно естественно, было бы удивительно, если бы случилось иначе. На индикаторах радарных установок внезапно возникло изображение крупного объекта, движущегося с малой скоростью на малой высоте. Операторы изумились. Конечно, доложили по команде; конечно, запросили летающий объект, послав ему кодированный импульс, на который нашим объектам положено отвечать так же кодированно – «я свой».

Дом ничего не ответил, что дало основания считать его «чужим», а следовательно – опасным объектом. На всякий случай были приведены в готовность номер один пусковые установки зенитных ракет и самолеты-перехватчики («Представляете, милорд, как в нас вклепили бы ракету! То-то было бы звону!» – «Не представляю»), но, быстро поразмыслив, решили, что на военный объект не похоже. Что же тогда? НЛО? Выходило, что НЛО.

Тут же по тревоге был поднят пограничный вертолет, совершающий в дневные часы облет побережья Финского залива, – поднят и наведен на летающий объект. Летчик вертолета, приблизившись к нашему дому (тот в эту минуту летел над Каменным островом), четко доложил, что видит кирпичный девятиэтажный дом, летящий к югу без видимых причин, приводящих его в движение. Летчик также сфотографировал наш дом в инфракрасных лучах.

– Сударь, вы прекратите это издевательство? ПВО! Радары! Ракеты! Инфракрасные лучи!.. Что это все значит?

– Дорогой мистер Стерн! Чтобы объяснить, что это все значит (не на техническом, а на этическом уровне), мне пришлось бы написать совсем иной роман, где наряду с восхищением человеческим разумом, придумавшим все эти штуки, я бы ужаснулся трагической глупости, которая нашла им применение в военной области.

Короче говоря, убедившись, что дом безвреден, его передали в другое ведомство, а именно – в Управление внутренних дел.

– Почему внутренних, а не внешних? Он ведь летел «вне».

– Очень просто, милорд. Летчик узнал типовой проект дома. Таких домов у нас огромное количество. Сразу было видно, что летит наше строение, а не шведское, к примеру, заблудившееся в воздушных пространствах и ненароком пересекающее границу. Кроме того, у нас нет Управления внешних дел, но есть Министерство дел иностранных. Вот ежели бы оно было Министерством странных дел, то тогда историю с летающим домом следовало бы немедленно записать на его счет, но... такого министерства нет, увы!

- Вам хотелось бы стать министром странных дел?
- Конечно, как и вам, милорд.

Сообщение служб обнаружения в Управление внутренних дел почти совпало по времени с телефонным звонком Завадовского, с тою лишь разницей, что первый сигнал поступил в верхнюю часть Управления, а второй – в нижнюю. Пока оба сигнала объединялись в один, совершая сложный путь по системам оповещения, к ним добавилось известие о благополучной посадке дома на Безымянной улице. Пилот патрульного вертолета проследил за нашим домом вплоть до момента, когда тот коснулся нижними своими кирпичами асфальта Безымянной улицы, тут же доложил по радио, и через несколько минут десяток специальных милицейских машин, среди которых были не только ординарные «помогайки», но и роскошные микроавтобусы с надписью «Дежурный УВД», оборудованные по последнему слову техники, мчались по направлению к месту посадки.

Вслед за тем кооператор Завадовский был посажен в машину и доставлен в городское Управление в качестве первого свидетеля.

Все пришло в движение: на улицу Кооперации спешно выехали эксперты, машины аварийных служб и строительные рабочие с материалами, необходимыми для устройства ограждения. Поставые по всей трассе следования дома получили указание искать свидетелей, чем и занялись весьма активно, спрашивая загулявших прохожих, дворников и вообще всех, кто случайно или по долгу службы мог обратить внимание на странный предмет в небе.

Чтобы покончить с улицей Кооперации, заметим, что уже утром фундамент дома окружили добротным деревянным забором (через три дня он был уже облеплен объявлениями об обмене), труба водопровода была заварена, доступ газа прекращен, электрические сети отключены. Место происшествия (одно из двух) перестало представлять опасность.

Поиск свидетелей на трассе дал скудные результаты. Удалось, правда, заручиться показаниями некоей дворничихи Перфильевой, застигнутой поставым в четыре часа ночи возле подведомственного ей дома на Кировском проспекте. Дворничиха при белом фартуке подметала тротуар.

- Похвальное рвение!

– Однако, справедливости ради, следует сказать, что Перфильева привлекла внимание поставого отнюдь не удивительным ночным усердием, а тем, что возле нее время от времени останавливались машины такси, оттуда высывались какие-то молодые люди, о чем-то коротко осведомлялись...

- Спрашивали адрес?

– Очень может быть, милорд. Но не только. Перфильева скрывалась на минутку в подъезде, после чего появлялась вновь с небольшим продолговатым предметом, завернутым в газету. Она всовывала этот предмет в машину, пассажиры обычно при этом воодушевлялись, что-то радостно восклицали... машина с ревом укатывала.

- Гм...

Постовой зафиксировал три или четыре таких контакта, а так как он, мистер Стерн, родился и вырос не в восемнадцатом веке на берегах Темзы, то прекрасно сообразил, в чем тут дело.

- И в чем же?
- Дворничиха торговала водкой.
- В четыре часа утра? Зачем, кому может понадобиться водка в столь неурочное время?
- Ох, милорд, вы замучаете меня вопросами...

Постовой наблюдал за предприимчивой дворничихой издали, поскольку подойти не имел возможности – форма мешала. Уверяю вас, что ни одна машина не остановилась бы рядом, если бы неподалеку от дворничихи находился милиционер. Тем не менее желание поставого задержать Перфильеву с поличным становилось прямо-таки навязчивым. Он подкрадывался

все ближе и наконец, улучив момент, когда Перфильева удалилась за очередной бутылкой, помчался к дверям подъезда гигантскими прыжками, придерживая одной рукой болтающуюся сзади кобуру.

Такси будто ветром сдуло, и постовой успел лишь преградить путь дворничихе, когда она вышла из подъезда, прижимая к фартуку заветную бутылку, завернутую в газету «Советская культура».

– Спекуляция спиртными напитками! – тяжело дыша, проговорил постовой.

– И-и, милок! – тонко заголосила дворничиха, успев заметить, что такси упорхнуло. – Какими напитками? Какая спекуляция?

– Давайте бутылку! – потребовал милиционер.

– Так бы и сказал, что бутылка нужна, – миролюбиво отвечала дворничиха, передавая сверток.

Однако постовой, подошедши к чугунной урне, грохнул бутылку о ее край, выказав тем самым принципиальность. Ничего иного делать не оставалось – никакой суд не нашел бы в действиях Перфильевой состава преступления.

– Ой, дурачок! И не жалко?.. – покачала головой дворничиха. – Следил бы лучше за порядком. Тут вещами швыряются из окон, могут прохожих зашибить...

– Какими вещами? – насторожился постовой.

– Пойдем покажу.

Они проследовали в подъезд, где под лестницей находилась обитая железом дверь с висющим замком. Это была кладовка. Дворничиха отомкнула замок и зажгла в кладовке неяркую лампочку. Затем она извлекла из-за груды метел и лопат черный пухлый «министерский» портфель с приплюснутым испачканным боком.

– С неба свалился, – сказала она.

Постовой уже знал о ночном происшествии с домом (ему сообщили по рации), потому, не задумываясь, связал эти два факта.

– Когда? Где? – устремил он взгляд на Перфильеву.

– Да с полчаса будет. Грохнулся, аж земля задрожала. Прямо на тротуар. Хорошо, не на голову!

Постовой открыл замочек и тут же, в кладовке, произвел предварительное расследование. В портфеле оказалось две папки с бумагами «Для служебного пользования» и билетом на «Красную стрелу», отходящую в ближайшее воскресенье, аккуратно сложенная пижама, электробритва, зубная щетка, полотенце и мыло. В полиэтиленовом, сильно помятом от удара пакете виднелись остатки бутербродов и вдребезги разбитые крутые яйца. На дне портфеля обнаружились мокрые осколки... пахло чем-то знакомым. Милиционер определил, что видит остатки небольшой фляжки из-под коньяка.

В отдельном карманчике портфеля он нашел партийный билет, служебное удостоверение и паспорт на имя Зеленцова Валерия Павловича, проживающего... Собственно, неважно, где проживал гражданин Зеленцов. Важно, что не на улице Кооперации, в доме номер одиннадцатый. Совсем в другом месте.

На основании этого постовой хотел было уже отъединить факт падения портфеля от факта перелета дома, как вдруг из партбилета выпала сложенная вдвое записка. На ней торопливым почерком было написано: «Нашедшему – передать в милицию! Подвергся провокационному угону за границу против своей воли. Прошу продолжать считать меня коммунистом. Зеленцов». Тут же была проставлена сегодняшняя дата и даже время: «3.30 ночи».

Найденная записка заставила постового вновь насторожиться. Дело явно требовало серьезных мер, даже если не было связано с летающим домом, – угон за границу! шутка ли! провокационный! Милиционер тут же сообщил по радио о находке, и через полчаса портфель

и документы гражданина Зеленцова находились в городском Управлении, куда стекалась вся информация.

Был задержан еще один мужчина, спавший на Каменном острове, на скамейке, и пробудившийся оттого, что рядом с ним на клумбу упала недопитая бутылка портвейна...

– Он был бездомный?

– Нет, это именно тот случай, когда сильно пьян и не можешь найти дорогу домой... Мужчина поднял голову и увидел над собою пролетающую громаду дома. На одном из балконов он заметил женскую фигуру, которая, ожесточенно жестикулируя и выкрикивая какие-то слова (ветер относил их), выбрасывала вниз бутылки, как балласт из воздушного шара. Две из них взорвались, упав на асфальт, а третья шлепнулась на рыхлую землю клумбы. Она не разбилась, милорд! Вот удача-то!

Гражданин схватил бутылку, немедленно приложился к горлышку, побежал по аллее куда глаза глядят, к людям... и был схвачен, выбежав на проспект, проезжавшей машиной «Спецмедслужба», которая и доставила его в вытрезвитель на Батарейной улице. Там гражданина раздели и уложили спать. Лишь утром, уловив в его похмельном бреде мотивы пролетающего дома, милиция доставила гражданина, к крайнему его возмущению, в городское Управление.

Вот и все свидетельства с трассы.

– Не густо!

Зато на месте приземления, куда прибыли по тревоге участковый этого микрорайона, следователи и розыскные службы (привезли даже двух служебных собак), удалось собрать более богатый урожай.

Уже внешний осмотр подтвердил, что дом действительно опустился на Безымянную вертикально сверху, потому как не обнаружилось ни тополей, росших по кромкам тротуара, ни пивного ларька рядом с помещением книжного склада. Если бы дом был вдвинут на свое место, то деревья и ларек оказались бы вытесненными и их останки лежали бы сбоку. Но никаких следов тополей и ларька не нашли. Очевидно, и то и другое было разрушено и вмято в землю...

– Позвольте! Но ведь пивной ларек, насколько я помню...

– Да, милорд, но милиция, как это ни странно, еще ничего не знала о вознесении тети Зои.

– Не может быть! Неужели никто из очевидцев не заявил?

– Никто.

– Но ведь это сверхъестественное, из ряда вон выходящее явление! Хотя бы в интересах науки!

– Знаете, милорд, половина из стоявших в очереди к ларьку каждый день видит живых чертенят. Что им наука? Что им сверхъестественные явления? Они и не такое могут рассказать!

– А Демилле?

– А Демилле торопился на свидание.

Итак, дом стоял на Безымянной как влитой. Собственно, улицы более не существовало. Дом заткнул ее, как затычка пивную бочку.

Безымянная улица была довольно короткой – не длиннее ста метров – и соединяла две другие, более солидные улицы. По одну сторону Безымянной, во всю ее длину, тянулся старой постройки пятиэтажный дом с эркерами (крышу этого дома я и увидел после пробуждения). По другую сторону, куда выходили окна квартиры Демилле, стояли впритык два дома – семиэтажный, с башенкой на углу, и четырехэтажный, в подвале которого помещался книжный склад. Все вышеуказанные дома были жилыми, с коммунальными в большинстве квартирами, кроме четырехэтажного, где наряду со складом помещалась больница водников.

Кооперативный дом встал на Безымянной во всю длину, прямо на проезжей части, захватив и полосы тротуаров, так что между ним и старыми домами образовалось нечто вроде уще-

лий: эркеры пятиэтажного дома так и вовсе почти касались стен нашего здания; ширина ушей получилась не более двух метров.

По ранжиру соотношение домов было следующим: семиэтажный дом (высота потолков в его квартирах была четыре метра) в точности равнялся нашему девятиэтажному, пятиэтажный дотягивался до нашего седьмого этажа, а четырехэтажная больница – до пятого. Таким образом, с одной стороны кооперативного дома доступ солнечного света в квартиры был прекращен вплоть до седьмого этажа, и лишь верхние два этажа (в том числе окна моей квартиры) выходили на свет Божий над крышей соседей. С противоположной стороны семиэтажный и два подъезда нашего дома полностью перекрывали друг друга и глядели от тротуара до крыши окно в окно, другим же двум подъездам жилось лучше – верхние их этажи имели обзор и могли даже видеть Малую Неву.

Впрочем, это стало ясно только днем, а в предутренние часы шло следствие и решались многочисленные вопросы: как быть с жильцами всех перечисленных домов, хотя бы в первые дни, чтобы не создавать паники и обеспечить мало-мальски сносные условия существования? Что следует предпринять, чтобы не допустить в дальнейшем полетов кооперативных и иных домов? Что послужило причиной этого уникального перелета? И проч.

Очень скоро следствие получило новый импульс, ибо был обнаружен старичок в длинном пальто – тот самый, что заступился за тетю Зою. Его нашли во втором подъезде нашего дома. Старичок дремал, прислонившись спиной к остывшему уже радиатору отопления. Когда его разбудили, он поначалу ничего не понял, но потом охотно рассказал историю с вознесением пивного ларька. Тут уже не знали – верить или нет, потому как, с одной стороны, история была неслыханная, но с другой – появление дома на Безымянной тоже принадлежало к разряду историй не совсем слыханных.

Старичок про наш дом ничего путного не сказал. «Проснулся, гляжу – подъезд теплый. Я туда. Гляжу – батарея. Продрог я, граждане начальники... Ну и снова заснул...»

– А где раньше-то спал? – спросили у него.

– А вот здесь, у ларька, и спал... Тьфу ты! Не у ларька, ларек-то взвился. В общем, у немца...

Съездили за женою старичка по указанному им адресу и обнаружили в комнате одетую во все праздничное старуху, сидевшую под иконой с горящей свечкой в руках. Старуха на вопросы не отвечала, лишь крестилась и бормотала что-то про светопредставление. Наконец, убедившись, что конец света не состоялся, а прибывшие за нею молодые люди в сером – не ангелы и не архангелы, а сотрудники уголовного розыска, дед ее жив, и здоров, и весел – чтоб его черти разорвали! – старушка разговорилась, и из ее уст удалось получить описание момента посадки дома.

По словам Матрены Терентьевны, она вышла искать своего непутевого где-то около двух часов ночи – «сто раз божилась, не пойду больше искать, пускай пропадает, ирод!» – и, обходя излюбленные места старика, а именно систему пивных ларьков Петроградской стороны, добрела наконец до Безымянной. Ей сразу бросилось в глаза, что ларька на улице нет. «Убрали, что ли? Ну и слава богу! Меньше этих пьяниц, чтоб их...» Она прошла по улице и заметила знакомую фигуру своего деда, который преспокойно спал на ступеньках, ведущих в подвал книжного склада. Матрена Терентьевна набрала в грудь воздуха, чтобы огласить Безымянную криками упрека и негодования, как вдруг... будто кто ее дернул! Она задрала голову и увидела, что на нее медленно опускается стена во всю улицу. «Ровно под утыг попала, ей-богу!» Точно спички, начали ломаться тополя, посаженные вдоль тротуара, и тут Матрена, как прибабахнутая, выскочила из опасной зоны и помчалась к Большому проспекту, забыв о своем благоверном и осеняя себя крестным знаменiem.

Она едва успела заметить, как выпрыгнуло из-под опускавшегося дома, точно лягушка из-под сапога, такси, проносившееся в тот момент по Безымянной улице и лишь чудом избежавшее гибели.

О том, как сама чуть не угодила под машину на Большом, Матрена Терентьевна не упомянула: это ей не запомнилось.

– Ветер был? – спросил эксперт старушку.

– Какой ветер?

– Когда дом приземлялся.

– Какой дом? – старушка вновь напугалась.

– Туда прилетел дом. Вы были свидетельницей, как он садился. Был ли ветер при посадке? – терпеливо разъяснял эксперт.

– Окстись, милый... Разве ж дома летают? – ответила Матрена.

Старика и старуху оставили в покое. Хватит с них волнений! Часы показывали шесть утра, и главные испытания для жителей дома и сотрудников УВД лишь начинались.

Глава 5. Смятение

С подступом шестым «О стихийных бедствиях» и отступом четвертым «О синонимах»

Прежде чем описать те незабываемые утренние часы в жизни бывшего дома номер одиннадцать по улице Кооперации, когда весть об изменении местожительства проникла в сознание кооператоров, мы поговорим о стихийных бедствиях.

Попытаемся поразмыслить о связи стихийного бедствия с психологией людей, подвергшихся ему. Как они воспринимают бедствие? Как соотносят со своей жизнью и нравственностью? Какие делают выводы?

– А зачем это вам?

– Видите ли, милорд, я совсем не ради экзотики начал наш роман с довольно-таки интересного и необычного случая, происшедшего в моем городе. Сами по себе полеты домов – кооперативных, общественных и государственных – интересуют меня не больше, чем... не могу подобрать сравнения («И не подбирайте, я понял») чем приливы и отливы. Я уже давно отошел от науки и занялся «человековедением», как иногда несколько пышно именуют у нас писательскую деятельность, а посему любое явление природы и общества интересует меня лишь в его связи с людьми.

Вот и в перелете нашего дома меня занимают не технические вопросы: как он летел? где брал энергию?... подъемная сила и прочее – подобного рода загадки могут поразить воображение целого научного коллектива... диссертации, симпозиумы... – совсем же другие мысли мучают автора. Как перенесли полет жильцы? С какими мыслями они проснулись? Как им, бедным, жилось и работалось в те дни? Без электричества, газа, воды.

Начну с того, что причислю феномен перелета кооперативного жилого дома (примерно 50 000 тонн) к разряду стихийных бедствий.

– Почему «бедствий»? Ведь никто, насколько мне известно, не пострадал?

– Лишь физически, милорд, да и то случайно.

– Тогда я не согласен со словом «стихийный». Что стихийного в доме? Чем он напоминает стихию? Все известные мне стихийные бедствия происходят в результате действия природных сил. Дом же ваш сооружен человеком, а способ его полета тоже не принадлежит к числу естественных!

– Но он не принадлежит и к числу изобретенных человеком. Он, прямо скажем, сверхъестественного происхождения, что, впрочем, меня несколько не смущает.

За время, что разделяет наши века, наметилось новое понимание человека и общества, а также связи последних с природой. Вашему веку, милорд, было свойственно безусловное возвеличивание человека, его разума и силы. Ярлык «покорителя природы», прилепленный примерно в те времена, привел к бурному расцвету науки и техники, промышленности и ремесел. Человек решительно отделился от природы в надежде построить взамен нее нечто другое, синтетическое и безусловно рациональное.

Как вдруг – и не так давно – на купающееся в довольстве и сознании своего могущества человечество стали обрушиваться сначала робкие, а потом все более уверенные упреки природы. Эти жалкие, истребляемые звери, птицы и рыбы, эти пустые горы, эти высохшие леса и грязные реки как бы воззвали к милосердию человека, и он благосклонно обратил на них внимание, постановив защищать.

Но лишь на первый взгляд дело обстояло именно так. Те, кто пережил настоящее стихийное бедствие (например, жители Японии, на которую то и дело обрушиваются тайфуны

и цунами), наверное, не смотрят свысока на природу. Они понимают, как ничтожен человек рядом с нею. Даже мы, милорд, живущие в более умеренном климате, прозреваем, случается, летними вечерами, когда какая-нибудь незначительная гроза проходит над городом и фиолетовые тучи постегивают землю хлыстами молний. Мы прикрываем окна, говорим шепотом, а в душе нашей просыпается тот естественный и полезный для человека страх, который сознательно преодолевался поколениями «завоевателей природы».

Тут-то начинаешь понимать, что слезные жалобы природы, покорное недомогание полей, рек и лесов на самом деле суть не жалобы, а предупреждения, выраженные, правда, в вежливой форме. А наши призывы защищать и оберегать природу при более глубоком рассмотрении выглядят исключительно эгоистично.

Не природу мы хотим оберегать, а себя – от полного уничтожения природой. Природа была, есть и будет всегда. Трудно представить себе Землю без природы. Однако она вполне может стать такой, что человеку не будет на ней места.

Значит, следует умерить нашу самонадеянность и понять, что мы в ближайшем будущем можем быть равнодушно вычеркнуты природой из ее списков в наказание за то, что уже вычеркнули из них ряд любимейших и красивейших ее достояний. И наше любование собственным могуществом выглядит все более неуместным на фоне по-настоящему могущественных предупреждений природы.

Новое понимание человека, о котором я говорил, состоит в том, что человечество должно осознать себя неотъемлемой и равноправной с другими частью природы. Мы не можем разговаривать с нею пренебрежительно или покровительственно. Мы не больше чем муравьи (но и не меньше).

– Я вынужден вновь напомнить вам о философях. Они точат зубы.

– Спасибо, милорд.

Рискуя навлечь на себя еще больший гнев – и не только философов, – я должен сказать, что лозунг «Все для человека, все во имя человека и для блага человека!» следует толковать, на мой взгляд, расширительно: «Все для природы, все во имя природы и для блага ее!» – лишь в этом случае будет действительно достигнуто благополучие человека.

Возвращаясь к нашему дому (мы довольно далеко отлетели от него, чуть ли не дальше, чем он – от улицы Кооперации), я хочу заметить, что именно новое понимание человека как равноправной с другими части природы и дает мне право назвать перелет дома стихийным бедствием. Вообще с этой точки зрения любое общественное явление (инфляция, кризис, демонстрация, война, революция, безработица, матч по футболу и даже очередь у пивного ларька) можно назвать стихийным, но не все они, конечно, будут бедственными.

Теперь мы разобрались в этом вопросе, и у меня наготове следующий: как относится человек к стихийному бедствию?

– А как? Страдает, конечно... Терпит.

– Нет, я не о том. Склонен ли он рассматривать бедствие в качестве кары?

– Могу ответить авторитетно. Не зря я долгое время был духовным пастырем, то есть пас души верующих. И вот, перегоняя стада душ с пастбища на пастбище, я запасся (игра слов, заметили?) ценными наблюдениями, которые могу предложить для вашего романа.

– Нашего, милорд...

– Люди верующие, безусловно, склонны воспринимать игру природных сил как ответ богов на те или иные личные дела и поступки. Когда есть ощущение, что многим людям вокруг свойственны одни и те же пороки, стихийное явление может рассматриваться как кара за общественные грехи. Вы сами только что... помните ту старушку, как ее звали?

– Матрена Терентьевна, милорд.

– Ну да, Матрена! Она бежала и крестилась со словами: «Господи! За грехи наши...» Помните? Следовательно, она восприняла появление дома в воздухе как знамение, как предвестие конца света, который придет «за грехи наши».

– Спасибо, мистер Стерн. Я с вами согласен. Правда, я полагаю, что речь должна идти не только о верующих. Любой человек склонен принимать на свой личный счет не зависящее от него явление, и это, кстати, еще раз подчеркивает повышенное внимание человека к себе. Ему не кажется странным, что природа (божество) устраивает землетрясение для того, чтобы наставить человека на путь истинный или указать на то, что жил он неверно. Я думаю, милорд, что и вы – внимательный слушатель мой, – и читатели ни на минуту не усомнились, что я описал перенос дома на Петроградскую для того, чтобы показать, что герой наш, Евгений Викторович Демилле, жил не совсем праведно, за что и получил такой сюрприз.

– А что, разве не так? Разве исчезновение дома не вытекало логически из предыдущей жизни героя?

– Может быть, и вытекало, но ведь так мог рассуждать каждый жилец дома. Получается одно из двух: либо все кооператоры в один прекрасный момент (а именно указанной апрельской ночью) пришли к жизненному краху, либо исчезновение дома – кара лишь для Демилле, но тогда почему за ошибки Евгения Викторовича должны расплачиваться ни в чем не повинные люди?

– Вы меня запутали. Так как же обстоят дела на самом деле?

– На самом деле перелет дома, как и землетрясение, не имеет касательства ни к Демилле, ни к другим кооператорам, ни к милиции, ни к общественному строю, но... так уж мы устроены, что и Демилле, и другие, и милиция, и читатели, да и мы с вами, милорд, будем искать в этом факте определенный смысл.

Тут я кончаю подступ, потому что слышу гул голосов на лестничных площадках, топот ног, тревожные стуки по батареям отопления, отчего муторно становится на душе. Поспешим, милорд, к этим несчастным, к этим обманутым людям, чтобы помочь им, то есть взглянуть на них со стороны и улыбнуться... или заплакать... или то и другое вместе.

– Ох, любите же вы говорить!

– Не ворчите, мистер Стерн. С умным человеком и поговорить приятно!

Когда Егорка вновь открыл глаза, то увидел, что в окно ослепительной стрелой врезается солнечный луч, упершийся в пол у самой его кровати.

Он приподнял голову, и вдруг случилось чудо: солнечный луч метнулся к стене, прочертил по ней ослепительную полосу и исчез, будто его и не было. Мальчик вскочил с кровати и подбежал к окну.

– Его-ор, это ты там бегаешь?... – услышал он из соседней комнаты сонный голос матери.

Он ничего не ответил, а скорее и не слышал возгласа матери, поскольку его всецело захватил вид за окном. Там было другое окно, с полукруглой фрамугой сверху, а за ним открывалось какое-то полутемное пространство. То, внешнее окно было метрах в двух от Егорки. Он силился понять, что же случилось, как вдруг из полутемного пространства за внешним окном, где угадывались очертания каких-то предметов, выплыла фигура в белом и, недовольно морщась, потянула за веревку, свисающую сверху. Раздался резкий звук, и на лицо Егорки упал тот же солнечный зайчик, что исчез из комнаты минутой раньше. Егорка наконец понял: зайчик был отражен от фрамуги внешнего окна, потому и втыкался в пол столь круто; фигура же в белом, подошедшая к окну с той стороны, как раз и открыла фрамугу, вернув зайчик. Решение этой маленькой загадки слегка успокоило мальчика, хотя оставалась главная загадка: откуда там это непонятное окно?

До Егорки долетел конец фразы, сказанной мужским голосом:

– ...не сделал зарядку, а ты закрыла!

Егорка покосился на свою открытую форточку, откуда прилетели эти слова, и медленно-медленно стал отступать в глубь комнаты, чтобы грозная фигура с круглой головой (он как-то сразу решил, что фигура грозная) не дай бог его не заметила. Но она заметила.

– А вот и пришелец! – прогремел радостный голос, и фигура, приблизившись к своему стеклу, принялась вглядываться в Егорку. Тут и он разглядел незнакомца.

Это был крупный пожилой мужчина лет шестидесяти пяти, с абсолютно лысой головой и умными глазами, под которыми обозначались коричневатые мешочки. Он был в нижнем белье: белых кальсонах и белой сорочке с длинными рукавами. Смотрел он на Егорку чуть насмешливо и с любопытством.

– Маша, да посмотри же! – крикнул он, обернувшись.

Никто не появился. Старик обратил взгляд на Егорку и громко спросил:

– Мальчик, ты меня слышишь?

– Да... – еле слышно ответил Егор.

– Родители дома? – строго продолжал старик.

Егорка снова кивнул, но смешался, вспомнив, что отца с вечера не было и неизвестно – пришел ли он домой...

– Мама дома, – сказал он поникшим голосом.

– Позови, пожалуйста, маму, – сказал старик.

Луч, бывший сверху, напоминал, что где-то в небесах происходит весна.

– Папа, ты хоть штаны надень! – услышал Егорка женский голос с той стороны.

Старик поспешно отошел от окна в своей комнате, будто нырнул в темный омут. Егорка отправился в комнату родителей.

Мать лежала на диване, накрывшись пледом. Она не разделась с вечера: лежала в том же, в чем видел ее Егорка за ужином: в шерстяной кофте и в брюках. На журнальном столике у дивана стоял в подсвечнике оплывший огарок красной свечи, а рядом возвышалась горка бумажных клочков... письма, что ли? На металлическом с чеканкой подносике, использовавшемся обычно для кофейного угощения, Егорка увидел кучку черного пепла.

Отца в комнате не было.

– Ну что? Будем вставать, Егор?.. – сонно улыбнулась мать, мягко привлекая Егорку к себе, отчего ему сразу сделалось хорошо на душе и уютно.

– Там тебя дядька зовет, – прошептал он ей в ухо.

– Дядька? – мать испуганно отодвинула его, взглянула в глаза. – Какой дядька? – она мгновенно сунула ноги в тапки, бросилась в прихожую. – Ты шутишь, Егор? – обернулась она к сыну.

– Там... у меня, – кивнул Егор в сторону своей комнаты.

Мать недоверчиво взглянула на него, но направилась в детскую. Егор поплелся за нею.

– Ну и где же твой дядька? – повеселевшим голосом спросила мать, оглядев пустую комнату.

– Уважаемая! – раздался вдруг густой красивый голос, исходивший от форточки. – Подойдите, пожалуйста, поближе...

Мать охнула... увидела наконец! Бросила быстрый взгляд на сына, стараясь взять себя в руки, не показать страха...

– Вы... откуда? – спросила она.

– А? Не слышу! – старик повернулся ухом к окну.

– Откуда вы? – делая шаг к окну, погромче повторила мать.

– Не-ет! Это вы – откуда? – рассмеялся за стеклами старик. – Я, уважаемая, здесь живу с одна тысяча девятьсот пятнадцатого года. А вот вы откуда взялись?

– Ничего не понимаю... – прошептала мать и придвинулась близко к стеклу, стараясь получше разглядеть собеседника.

Она быстро повела глазами по сторонам: и слева, и справа, и внизу тянулась стена незнакомого дома с окнами, стоявшего вплотную к их дому. Лишь вверх была видна полоска чистого неба над чужою крышей.

– Ну-ну... Не расстраивайтесь, – добродушно сказал старик. – Все бывает. Так откуда же вы? Как вас зовут? Вы понимаете меня хорошо? Вы русская? Советская?

– Ну конечно! – воскликнула мать. – Советская, какая же еще! Меня зовут Ирина. Ирина Михайловна Нестерова.

– Очень приятно, – поклонился лысый старик. – Григорий Степанович Николаи... Не Николаев, как обычно думают, а Николаи. Это существенная разница.

– Николаи... – зачем-то повторила Ирина.

– Я, признаться, огорчен тем, что вы не с другой планеты, – продолжал Николаи. – Приятно было бы первому вступить в контакт...

Он явно настроился на длительную беседу, ибо придвинул к окну кресло-качалку и уселся на него, закинув ногу на ногу. Был Николаи теперь в стеганом красном халате, отчего напоминал кардинала.

– А где же вы жили раньше? – спросил он.

– В Ленинграде, на улице Кооперации.

– Гражданка? Понятно, – кивнул старик. – Ну а каким образом вы оказались здесь?

– Я не знаю, – жалобно произнесла Ирина, и у нее дрогнула губа.

– Ну-ну... – успокаивающе сказал старик.

Он перевел взгляд на мальчика и увидел тревогу в его глазах; честное слово, легче вступить в контакт с пришельцем, чем поддержать и успокоить ближнего!

– Строго говоря, Ирина Михайловна, у меня нет уверенности, что это вы попали к нам в гости, – продолжал Николаи. – Может быть, и наоборот... Знаете, давайте откроем окна. Погода солнечная, весна. Так нам будет легче разговаривать.

С этими словами он поднялся с кресла, снял с подоконника горшочек с бегонией, решительно взялся за шпингалеты... раздался щелчок, скрип – и окно отворилось.

– У нас окна еще заклеены! – попыталась возразить Ирина.

– Пустяки! – бодро воскликнул Николаи (его теперь очень хорошо было видно – в красном шелковом халате, блестящем на солнце). – Когда-нибудь нужно отворять окна. Весна!

Ирина неуверенно взялась за черную ручку оконной защелки, повернула ее и с силой потянула на себя. Высохшие полосы бумаги лопнули с треском, взвилась междуоконная пыль – окно распахнулось.

– Ну вот... – ласково сказал старик. – Вот и прорубили окно... друг к другу.

Ветер ворвался в комнату, взметнул волосы матери; Егорка прижался к ней сбоку, уже без тревоги глядя на старика в трех шагах от них, на другом краю пропасти. Ирина набросила на сына одеяло с кровати, чтобы мальчик не простудился. Несколько секунд все молчали, будто привыкая друг к другу, будто распахнутые окна обязывали к какому-то другому общению... непривычно было... расстояние такое, что можно перепрыгнуть из квартиры в квартиру... очень близкое расстояние.

– Мис-ти-ка! – отдельно и удовлетворенно проговорил Николаи. – Маша! Ну иди же посмотри! – обернувшись, крикнул он.

На его зов из глубины комнаты показалась женщина примерно того же возраста, что Ирина – лет тридцати двух – тридцати четырех. Одета она была обыкновенно: длинная юбка и ситцевая кофта с широким воротом. На бледном лице выделялись большие черные глаза. Она без удивления посмотрела на неожиданных гостей и чуть заметно улыбнулась, впрочем, из вежливости.

– Это – Маша, дочь моя. Учительница, – представил ее Николаи. – А вот как зовут вашего сына, уважаемая Ирина Михайловна, мы еще не знаем.

Егорка от смущения уткнулся в мамину кофту. Мать потрепала его по волосам, попыталась развернуть лицом к новым знакомым, но он лишь пуще застеснялся и сделал попытку убежать.

– Егор, перестань!.. Егором его зовут, – словно оправдываясь, сказала Ирина.

– Е-го-ром! Это хорошо! – с удовольствием повторил старик. – Сколько же лет Егору?

– Осенью в школу пойдет. Хотя теперь... – мать развела руками.

– И пойдет! Никуда не денется! – постановил Николай. – Здесь у нас рядом английская школа. Машенька в ней преподает... Маша, ты не опаздываешь? – обернулся он к дочери.

Она кивнула, молча удалилась из комнаты. А Николай, вновь усевшись в кресло и подставив солнцу лысину, продолжил разговор. Впрочем, это трудно было назвать разговором, потому что Григорий Степанович в основном говорил сам, пространно отвечая на робкие вопросы Ирины. В голосе у него было нечто обворожительное... красивый голос. Старику это было известно. Ирина Михайловна и Егорка узнали, что находятся теперь на Петроградской стороне, неподалеку от Тучкова моста, на Безымянной улице. («Известна вам такая?.. Плохо, уважаемая. Надо знать свой город!») Григорий Степанович рассказал, как увидел, проснувшись, странную картину в своем окне, позвал дочь... Потом он перешел к рассказу о себе и сказал, что квартира, где живут они с дочерью, когда-то принадлежала его отцу, царскому генералу, погибшему на германском фронте в шестнадцатом году («Я его никогда не видел и иногда думаю, Ирина Михайловна, что это к лучшему. Прости меня бог! Не исключена возможность, что теперь я заканчивал бы свой век где-нибудь в Париже. Отец, как вы понимаете, скорее всего, оказался бы среди белых, ну и... И слава богу! Дым Отечества, знаете, это не шутка. Грибоедов был прав...»), что и сам он пошел по военной части, тоже дослужился до генерала, хотя и не без трудностей («И посидеть пришлось в тридцать седьмом, к счастью, недолго...»), что вот уже пять лет как вышел в отставку, а супруга генерала умерла год назад, и теперь он живет с незамужней, точнее, разведенной дочерью.

– У вас, простите, супруг есть? – спросил Николай.

Ирина, дотоле внимавшая речам генерала спокойно (она отошла немного от раскрытого окна и присела на краешек Егоркиной кровати, а сам Егорка из комнаты исчез – отправился в кухню), вдруг напряглась, покачала головой и негромко, но твердо сказала:

– Нет. Мужа у меня нет.

– Простите великодушно!.. Да, к сожалению, это теперь не редкость. Нынче неразведенных так же мало, как в наши времена – разведенных. Вот и Машенька моя...

Но Ирина не успела узнать о причине развода генеральской дочери, потому что из кухни раздался Егоркин крик:

– Ма! Воды нету!

И сразу вслед за этим в квартиру Ирины Михайловны громко и требовательно постучали. Ирина Михайловна, извинившись, пошла открывать.

...Тут мы, милорд, оставим на время старого генерала и жену Евгения Викторовича Демилле (а это была его жена, что бы она там ни говорила!) и маленького Егора и посмотрим, что же творилось в эти часы в других квартирах и подъездах прилетевшего дома.

Утро, как я уже говорил, было субботнее, на работу жильцы дома не торопились; первыми среди кооператоров проснулись школьники и некоторые их родители. Первые признаки тревоги возникли сразу же: нет воды, нет газа, нет электричества! Телефоны, естественно, тоже молчали. Совпадение редкостное, что и говорить! В ближайшие несколько минут пробудившиеся кооператоры начали обращать внимание на изменившийся ландшафт за окном. За стеклами нижних этажей царил полный мрак, в котором едва можно было различить придвинутые вплотную к дому стены, двери подъездов и окна старых обшарпанных домов – в некоторых зажигались огни, и напуганные кооператоры начинали знакомиться с жизнью чужих людей, которая происходила за освещенными окнами. Первый этаж кооператоров имел также воз-

можность наблюдать фигуры в серых шинелях, которые сновали в образовавшихся ущельях между домами.

Тревога пока накапливалась и зрела внутри проснувшихся квартир: робко выглядывали из окон, перешептывались, прикладывали уши к дверям, слушая шаги на лестнице... недоумевали. Большая часть жильцов еще мирно спала, а посему напряженность психического поля не достигла уровня, способного возбудить панику.

Милиция тоже пока сдерживалась, не совалась в квартиры, ибо по внешнему виду окон трудно было определить – проснулась квартира или нет. Все окна по-прежнему были темны.

Но вот напряженность поползла вверх, как столбик термометра горячего больного – ее можно было измерять гальванометром! Электричество, копившееся в квартирах, дало себя знать сначала в криках ужаса нескольких слабонервных женщин, затем в перестукиваниях между квартирами по батареям отопления, уже безнадежно холодным. Кто-то закричал в форточку с пятого этажа: «Помогите!» – и этот женский крик, услышанный кооператорами, выплеснул страсти наружу.

Первой в подъезде № 1 вырвалась на лестничную клетку Клара Семеновна Завадовская, у которой имелись веские причины впасть в отчаяние. Электричество, газ, вода – это, конечно, неприятно, но муж!.. но собачка!.. Где они? Клара Семеновна, обнаружив пропажу, выскочила на площадку пятого этажа в пальто, накинутом на ночную сорочку, метнулась к соседям, которые отворили ей дверь с ужасом на лицах, чем еще более напугали несчастную Клару Семеновну, – дальше клубок покатился на другие этажи, хлопали двери... нервно перекрикивались соседи... строили предположения.

Во всех умах как-то разом обозначилась мысль: «За что?» Ее быстро сменила другая: «Бог наказал!» – впрочем, не во всех головах, будем справедливы, она нашла себе место.

Паника распространилась мгновенно, как огонь по занавеске. Женщина, которая ночью выбрасывала бутылки с балкона, что было зафиксировано в свидетельских показаниях гражданина из вытрезвителя, проснувшись и припомнив ночной полет, опять выскочила на балкон. (С вечера в ее квартире происходило гулянье, вина запасено было много – так много, милорд, что к ночи всё не выпили, перепало и пьянице на Каменном, – и вот в три часа ночи, когда гости улеглись, где придется, внезапно погас свет в квартире. Хозяйка вышла на балкон и увидела, что дом летит над городом. Конечно, она и думать не посмела о реальности этого ощущения после обильных возлияний. Ненависть к пьянству – нет более непримиримых врагов алкоголизма, чем пьющие женщины, – заставила ее собрать бутылки с остатками жидкости и побросать их с балкона, сопровождая это антиалкогольной проповедью.) Итак, она снова выскочила на балкон и увидела то же, что увидел я из окна: крышу пятиэтажного дома и другие крыши во всех сторонах света. «Допились, допились...» – повторяла она, тупо уставившись на незнакомый городской пейзаж, то есть, по существу, тоже признавая некую кару, постигшую пьяную компанию...

– Скажите, сударь, вы намеренно сгущаете краски?

– О чем вы, милорд?

– Я говорю об алкогольных мотивах, то и дело возникающих в вашем рассказе. У вас так сильно пьют? Мне не верится.

– Мне тоже... Хотя, признаться, я не заметил, чтобы мой рассказ содержал повышенный против реальности процент алкоголя. Но если вам с расстояния в двести лет что-то показалось странным, я готов кое-что разъяснить. Что вас интересует, милорд?

– У меня создалось впечатление, быть может, обманчивое, что напитки, содержащие алкоголь, утратили у вас ту служебную роль, какая предназначалась им в прошлом, и перестали быть приятным средством увеселения на празднествах. По-моему, они превратились, наряду с хлебом и солью, в необходимый продукт, потребляемый в любое время дня и ночи, с поводом и без повода, в одиночку и группами, просто по привычке или от скуки. Я не прав?

– Вы правы, милорд.

– Я не знаю причин такого явления, но заметил также, что оно вызывает у ваших соотечественников повышенные терзания. Мне не совсем понятно, почему они относятся к потреблению алкоголя не так спокойно, как это делали, например, древние эллины? Вы можете себе представить Феокрита или Демосфена бегущими по Афинам с безумными глазами и вопиющими: «Допились! Допились!»? Непонятные страсти – тот не пришел домой ночевать, эти гоняют по городу в поисках вина, те стоят в очередях... Непонятная система запретов, условностей, обычаев, связанных с питием. Куда повезли того несчастного, что ночь провел на скамейке?

– В вырезатель, милорд.

– Почему не домой?

– ?

– Почему, уж если вам нравится пить не только по праздникам, не привыкнуть к этому и не узаконить?

– Так ведь пьют до чертиков!

– Как это?

– Обыкновенно: до беспамятства, до посинения, до отключки. Непонятно? До галлюцинаций, до белой горячки, до потери пульса... Вы думаете, что перед вами древние эллины, которые пили разбавленное водой виноградное вино? Полноте, милорд! Наши граждане пьют что угодно, только не напиток греков!

– Но зачем? Они не болеют? Это же опасно!

– Еще как! Но у нас широкая натура, милорд. Широту ее нужно утолять бочками, но никак не рюмочками, хотя ими тоже не брезгают. Вот скажите, мистер Стерн, сколько в английском языке глаголов, обозначающих процесс принятия алкоголя? Ну синонимов глаголов «выпить» или «напиться»?

– Я не считал. Думаю, что три-четыре найдется.

– А послушайте, как обстоят дела у нас. Для удобства счета я буду располагать синонимы триадами. Итак:

отпраздновать, совершить возлияние, принести жертву Бахусу,

откушать, причаститься, приложиться,

вздрогнуть, загрузить, остаканиться,

поддать, влить, вдеть,

дербалызнуть, дербануть, дерябнуть,

пропустить, проглотить, принять,

сообразить на троих (триада, милорд!),

хлопнуть, клюкнуть, бухнуть,

зашибить, засосать, засадить,

чебурахнуть, чекалдыкнуть, царапнуть,

керосинить, ксрогазить, чибиргасить,

загудеть, запить, нажраться,

нализаться, нарезать, назюзюкаться,

промочить горло, заложить за галстук, залить за воротник,

пропустить по махонькой, похмелиться, поправить здоровье,

раздавить бутылек, банку, пузырек (тоже триада!),

дернуть, треснуть, колдырнуть,

кирнуть, тяпнуть, бацнуть,

шибануть, хапнуть, гепнуть,

врезать, вмазать, жахнуть,

шарахнуть, шлепнуть, шваркнуть,

выдуть, вылакать, набраться,
залить зенки, налить глаза, оттянуться,
налимониться, надраться, набубениться,
перебрать, набраться, нагрузиться,
упиться в сосиску, упиться в стельку, упиться в хлам...

...Я не могу отказать читателю в удовольствии порыться в памяти и пополнить список синонимов, для чего оставляю свободное место. Это интересная и небесполезная работа; благодаря ей каждый экземпляр романа станет уникальным, приобретет индивидуальность и приущий только ему винно-водочный букет.

– Я мог бы долго еще распространяться на эту тему, милорд, но пора возвращаться к роману. Я думаю, вы смогли оценить серьезность проблемы, исходя из моего чисто лингвистического доказательства...

Милиция действовала решительно, но спокойно. Поначалу, когда смятение только зарождалось внутри квартир, не находя выхода наружу, милиционеры следили за школьниками, выбегавшими то тут, то там из дверей и устремлявшимися по привычке в школу. Их мягко останавливали, стараясь не напугать, и направляли обратно, причем в квартиру входил и сотрудник милиции, будил родителей, если они спали, и приступал к работе...

– Какой работе?

– У милиции имелся план, выработанный в Управлении за считанные часы, что прошли с момента приземления дома до рассвета. Главными задачами милиции были:

а) успокоить кооператоров;

б) разобщить их, как бы локализуя очаги пожара, чтобы не дать пламени вспыхнуть общим костром;

в) снять показания касательно прошедшей ночи;

г) произвести перепись всего населения дома, имеющегося в наличии...

– Перепись? Зачем?

...и сверить его с записями в домовоей книге.

– Ага! Я начинаю понимать.

Вот именно, милорд! Милиции важно было не только успокоить людей, но и получить как можно больше сведений, могущих натолкнуть следствие на причины перелета дома. Это могло быть делом рук злоумышленников, преступных или антиобщественных элементов, а посему точный учет всех потерпевших был необходим.

Беда в том, что сотрудников на все квартиры не хватало, хотя и продолжали прибывать поднятые по тревоге группы, которые не только устремлялись к нам, но и рассредоточивались по старым домам Безымянной, чтобы успокоить пораженных старожил. Неизвестно, кому было хуже – прилетевшим или встречающим, если пользоваться терминологией Аэрофлота, а потому в скором времени в коммунальных квартирах дома с башенкой и в больнице водников появились вежливые молодые люди в милицейской форме, которые начали разъяснительные беседы.

На моей лестничной площадке метался молоденький сержант, спешно снятый со своего поста у Дворцового моста, вернее, подхваченный крытым грузовиком на пороге родного отделения, когда он возвращался туда, отдежурив вахту. Поскольку он снова всплыл в нашем повествовании, я думаю, надо дать ему имя.

– И фамилию!

– Дадим ему только фамилию. Я боюсь, что имен на всех не хватит, у нас их не так много, а с фамилиями легче... Итак, его звали Сергеев.

Первым делом Сергеев ринулся в квартиру № 281, из-за дверей которой доносились звуки «Маленькой ночной серенады» Моцарта. Сержанта удивили громкие голоса скрипок,

так разительно не похожие на все те звуки, которые Сергеев привык слышать в своем милицейском общегитии, – приподнятые аккорды, бравурные аллегро – черт те что! – и это в доме, вырванном и переброшенном какой-то нечистой силой за пятнадцать километров!

Дверь отворил среднего роста седой человек в костюме и при галстукe, как бы вытянутый в струночку, с кротким и лучезарным взглядом. Под стать взгляду светился на лацкане его серого с молнией пиджака рубиновый комсомольский значок, на котором, если бы на лестнице было чуть светлее, можно было бы прочесть надпись – КИМ. Человеку было лет под семьдесят.

Он слегка наклонил голову и выжидательно посмотрел на Сергеева. Тот опешил от бесконечно терпеливого и в то же время доброжелательного выражения его лица, с которого жизнь совершенно не сумела стереть достоинство и веру в людей.

– Простите, – пробормотал сержант, – у вас все в порядке?

Лучшего ему в голову не пришло.

– Да, – твердо и как-то счастливо отвечал светлый старик, подтверждая быстрым кивком свой ответ. – А что случилось, простите?

– Нет... Ничего... – смешался сержант. – Я думал...

– Нет-нет, я же вижу, что у вас что-то произошло, – все так же просветленно продолжал старик. – Заходите, мы постараемся вам помочь. Может быть, вызвать милицию?

Сергеев совершенно ошалел. Собственно, старик с комсомольским значком не произнес ничего сверхъестественного, более того, он был абсолютно, стопроцентно нормален и предупредителен. Его неожиданное предложение вызвать милицию могло быть объяснено тем, что он просто не увидел в темноте милицейских погон сержанта. Но тон... Сергеев никогда в жизни не слышал таких проникающих в самую душу интонаций, такой расположенности в голосе, участия и неиссякаемой веры в благоприятный исход любых событий. Это было почище «Маленькой ночной серенады», продолжавшей звучать из квартиры.

– Я потом... Я скоро зайду, – пообещал сержант, пятясь.

Старик смотрел на него, проникая взглядом в самую душу. За его спиной, в глубине квартиры, открывалась идиллическая картина: залитая утренним светом комната, где блестели прутьями многочисленные клетки с канарейками, висящие тут и там на разной высоте, а под клетками в современном кресле восседала седенькая старушка с портативным магнитофоном в руках, из которого и вырывался на свободу Моцарт. Старушка, слегка закинув голову, мечтательно смотрела в потолок, а канарейки вторили серенаде.

Если бы Сергеев взгляделся в эту картину подольше, он заметил бы, что на лацкане пиджака старушки (она была в английском костюме, милорд) светится такой же «кимовский» значок, а чертами лица старая комсомолка чрезвычайно похожа на старика, отворившего дверь.

Словом, и эта квартира, и Моцарт, и канарейки... Трудно было бы представить себе что-нибудь более несовместимое с той катавасией, что творилась сейчас в нашем доме.

– Приходите, – кивнул старик Сергееву и, уже прикрывая дверь, ободряюще улыбнулся: – А свет скоро дадут. Это временное явление...

– Стоп, стоп! Как звали этих удивительных старичков? Кто они такие?

– Это были Светозар Петрович Ментихин и Светозара Петровна Ментихина, милорд, – брат и сестра, близнецы, Светики, как любовно называл их весь дом. И вправду удивительные люди! В тридцатых годах они были членами Коммунистического интернационала молодежи, а теперь имели персональные пенсии. Вы бы видели, как они каждое утро бодро шли в магазин – не за покупками, нет! – они были общественники, народный контроль, совесть нашего микрорайона. У меня марш звучал в ушах, когда Светики удалялись по улице Кооперации в сторону универсама, где работали до вечера. Обмеры, обвесы, воришки среди покупателей были их специальностью. Мне всякий раз становилось стыдно при виде Светиков за свой сибаритский

образ жизни с котом Филаретом, нетвердые моральные устои и вялый общественный темперамент. Ох, мистер Стерн! О любом из наших кооператоров можно написать отдельный роман. Прямо не знаю, что делать!

– Вот и пишите.

Сергеев направился дальше и постучался ко мне. Я открыл ему и впустил внутрь квартиры. Успокоил... Затем мы с ним интересно поговорили, причем я узнал много нового относительно нашего дома, а Сергеев добросовестно записал мою фамилию и свидетельское показание, кое заключалось в одной строчке: «Свидетель спал. Ничего не знает».

Признаюсь, эта строчка задела мое литературское самолюбие. Хороши дела! Свидетель спал, ничего не знает! Как это? Помните, милорд, Федор Михайлович Достоевский приводил умозрительный пример о поэте и лиссабонском землетрясении (по поводу стихов Фета, кажется). Мол, стыдно поэту не замечать катаклизмов.

– А что я вам говорил?

Короче говоря, именно эта строчка: «Свидетель спал. Ничего не знает» стала первым толчком к замыслу романа, в котором я намереваюсь дать самые полные и достоверные показания о нашем доме, его жильцах и феномене перелета.

Узнав от Сергеева об этом факте, потрясшем мое воображение, я принялся расхаживать по комнате, не обращая внимания на сержанта, который задумчиво перебирал книги на полке. Я увлекся и взволновался... живо представил соседей – тех же Ментихиных, Демилле, Вероятновых... Мысль моя бежала куда-то вдаль, предугадывая и нагромождая события; внезапно я стал собирать чемодан. Сергеев встрепенулся.

– Вы куда это... чемодан?

– Простите, сержант! – горячо заговорил я. (Филарет наострил уши.) – Ради всего святого! Мне нужно немедленно покинуть дом. Я оставлю вам адрес, не бойтесь... Оставлю ключ от квартиры – приходите, отдыхайте, живите. Выпустите только! Мне нельзя здесь, я не могу сейчас. Потом вернусь, вот увидите. Я только возьму пишущую машинку, ладно? И своего кота, хорошо? Я здесь неподалеку. Буду писать, вы будете читать. Мы будем как писатель и читатель...

– Зачем это вам? – грустно спросил Сергеев.

– Не знаю. Хочется, хоть убей... Выпустишь?

– Я-то, может, и выпустил бы. Там не выпустят, – кивнул Сергеев в сторону улицы.

– Мы их обманем, обманем... – я, и вправду как помешанный, застегивал чемодан, надевал плащ, засовывал в футляр пишущую машинку. Филарет сам полез в корзину, в которой я обычно вывозил его на дачу.

Мой напор смутил Сергеева. Он уже вертел второй ключ от моей квартиры, уже озирался по сторонам, как бы ища выхода... Преступник может увлечь преступлением даже блюстителя порядка! Сергеев почему-то поверил мне. Пожалуй, из него мог бы получиться редактор!

Я распахнул окно. Прямо подо мною расстилалась внизу крыша соседнего дома. Апрельский ветер пахнул в лицо. Я успел черкнуть Сергееву свой новый адрес и, подхватив чемодан, машинку и корзину с Филаретом, вспрыгнул на подоконник.

– Бывай, сержант! – воскликнул я и птицей перемахнул через провал, отделявший меня от соседнего дома.

Грохнула жесь, точно удар первой весенней грозы; я побежал по наклонной крыше вверх, перелез через конек, спустился, прыгнул снова... Крыши вели меня вдаль от моих окон – к вам, милорд, к правдивому и свободному вымыслу, к свидетельским показаниям, не стесненным протоколом, – прочь, прочь от своих героев! Я убежал от них – к ним, от себя – к себе... Кошки высовывали свои треугольные мордочки из-за кирпичных труб; качались, как мачты, телевизионные антенны коллективного пользования. Прощай, кооператив!..

Сергеев провожал меня взглядом, в котором читались и сочувствие, и сострадание, и скорбь по невыполненному служебному долгу. Затем он засунул за отворот шинели книгу «Приключения Шерлока Холмса» и шагнул к двери.

Только он хотел открыть ее (я в это время убежал по крышам почти к Большому проспекту и уже выбирал место, где бы спуститься на грешную землю), как услышал глухой стук. Сержант рывком распахнул дверь, готовый к чему угодно, и увидел на пороге мою соседку слева Сарру Моисеевну Финкельман, пожилую даму, работавшую смотрительницей в Эрмитаже.

– Таки ви не знаете, дадут свет или как? – спросила она. – Фи, я обозналась! Я думала, это ви, а это совсем не ви...

Сержант вздохнул и опустил голову. Ему тоже захотелось убежать вслед за мною на край света, в глушь, в Саратов...

Глава 6. Фамилия Демилле

С подступом седьмым «О телефонных книгах»

– Не кажется ли вам, сударь, что наш роман начинает напоминать святцы, где даже я, профессиональный пастор, с трудом ориентируюсь в именах?

– Тогда уж телефонную книгу, милорд. Это расхожее сравнение, но между тем ввертывающие его в речь люди, по-видимому, не обладают фантазией. Нет ничего увлекательнее чтения телефонной книги!

Я вспоминаю детство, когда отец купил только что вышедшую телефонную книгу абонентов личных телефонов. Это был огромный, особенно по моим детским понятиям, том, содержащий ровные столбцы фамилий, адресов и телефонов. Весь Ленинград, спрессованный картонными обложками, жил в телефонной книге, и мне временами казалось, что жители города в виде маленьких черных фамилий ползают по страницам, как муравьи, делают свои делишки, переговариваются, пересмеиваются... Я раскрывал книгу наугад – они всегда успевали выстроиться в ровные колонки. Ни разу не удавалось застать кого-то в бегах. Время было такое, начало пятидесятых годов. Но я отвлекся.

Что же я находил интересного в телефонной книге? Много. По ней я наглядно знакомился с историей моей страны, воспитывал чувство языка, причем ничто не мешало моему воображению. Когда я видел фамилию Мясоедов, к примеру, перед моим мысленным взором раздвигалась другая картина, чем при виде фамилии Оглоблин, и совсем уж иное представлялось, когда я читал фамилию Неупокоев. Мне доставляло странное удовольствие подсчитывать число одинаковых фамилий. Иногда казалось, что фамилии, как и люди, обладают характерами, проглядывалось и деление на сословия и классы. Скромные и серьезные Ивановы занимали многие страницы; было ясно, что они наряду с Петровыми составляют основу общества, хотя между ними вызывающими группками пробегали Иванцевичи и Иванички. Ивановых и Петровых были дивизии, Семеновых и Никитиных – батальоны, рота Барабановых, взвод Лисицких, отделение Перчиков. В этой книге были кварталы, заселенные Суховыми, коммунальные квартиры, набитые Моховыми, отдельные особняки Скребницких и Бонч-Березовских.

Прослеживая этимологию, я докапывался до глубин отечественной истории, когда видел фамилии Смердова или Шуйского, а то вдруг оказывался за границей, натываясь на Цоя, Той-вонена или Гомеса.

Поражали двойные фамилии: Грум-Гржимайло, Коровин-Босой, Лебедев-Леонидов, будто их обладатели резервировали себе возможность прожить две жизни – одну Грумом, другую – Гржимайло... возможно, они так и делали.

Несмотря на разнообразие, фамилии удивляли меня своею уживчивостью. Копелевичи мирно соседствовали с Коршуновыми, Думбадзе – с Дульскими, Охрименко – с Очеевыми. Все были набраны одинаковым шрифтом, приоритет был исключительно алфавитный; мои муравьишки не обзывали друг друга кацапом, чучмеком, жидом; у каждого был свой номер телефона, по которому они могли позвонить друг другу и потолковать о разных разностях.

Позже, в юности, изучая иные телефонные книги, а также документы, построенные по их принципу, а главное – наблюдая, какое впечатление производят фамилии (простые фамилии!) на моих соотечественников, я имел несчастье убедиться, что уживчивость эта мнимая...

Взять хотя бы фамилию нашего героя.

В телефонной книге Ленинграда она встречается в единственном экземпляре, а именно «Демилле В. Е.» – это отец Евгения Викторовича, умерший, как я упоминал, три года назад.

Рядом с Демилле, сверху, стояла фамилия Демиденко, а снизу – Демина. Обладателей той и другой было достаточно много. Демилле вклинился между когортой Демиденко и отрядом Деминых, точно клин, вбитый в землю на границе России и Малороссии.

– Клин был французский? Странно!

– Исторически в этом не было ничего странного. Фамилия Демилле в России берет свое начало от французского подданного Эжена Милле (Eugene Millet), который по случайному совпадению был ровесником Пушкина и родился в провинции Русильон, в крестьянской семье. Двадцати лет от роду молодой предприимчивый русильонец покинул отчий дом, овладев расхожими ремеслами, и устремился в далекий Санкт-Петербург, видимо, найдя созвучие в названии родной провинции и загадочной, утопающей в снегах (так казалось Эжену) огромной страны на востоке.

– Россия, русский, Русильон!..

Первое, что сделал Эжен Милле в Петербурге, это прибавил к своей фамилии дворянскую приставку «де», которая вскоре сама собою слилась с фамилией, нисколько, впрочем, не обманывая знающих толк людей: Millet по-французски означает «просо», а следовательно, вряд ли может быть дворянской фамилией; она скорее подходит для крестьянина, коим и был отец Эжена. Тем не менее фамилия родилась и даже получила в Петербурге известность среди купеческих дочек как фамилия модного «парижского» парикмахера (в числе ремесел, которыми владел Эжен, было и ремесло цирюльника). Демилле-прародитель ловко использовал тщеславие богатых купчих, млеющих перед «мсье Демилле, парикмахером из Парижа». Впрочем, профессией Эжен владел недурно, что позволило ему вскоре твердо встать на ноги, обзавестись женою (из тех же купеческих дочек, с солидным приданым), домом, экипажем и тремя детьми. Старшего сына, родившегося в 1827 году, Эжен назвал Виктором, вероятно, в честь своих побед (деловых и любовных) в России. Русильонец прижился, мысль о возвращении на родину все реже посещала его, хотя русским языком Эжен так и не овладел, разговаривал отвратительно – как его понимала супруга Евдокия Дормидонтовна? Два сына и дочь обоими языками – рара и тапан – владели в совершенстве.

Младший сын Петр не продолжил мужскую ветвь рода Демилле, дочь Клавдия, выскочивши замуж восемнадцати лет, само собою, слилась с русскими фамилиями, а Виктор родил Александра Демилле. Было это... дай бог памяти... в 1855 году, в разгар Крымской кампании, отзвуки которой Виктор Евгеньевич Демилле-второй чувствовал и на своей шкуре: к тридцати годам он был приват-доцентом Петербургского университета, и его французская фамилия не очень хорошо вязалась с приливом патриотизма, охватившим студентов во время Крымской войны.

Александр Викторович Демилле-третий был, пожалуй, самым блистательным представителем рода. Он поступил на военную службу, дослужился до полковника, получил-таки настоящее российское дворянство и погиб в Порт-Артуре в 1904 году, оставив после себя сына Евгения и дочь Марью.

Евгений Александрович Демилле-четвертый был человеком болезненным, слабым, склонным к умственной работе. Он окончил университет, был историком, просиживал днями в архивах, заработал в архивной пыли чахотку, от которой и умер в скором времени после революции. Его жена, Екатерина Ивановна Демилле, в девичестве Меньшова, бабушка нашего героя, пережила мужа на пятьдесят лет, но замуж снова не вышла – воспитывала и поднимала трех сыновей: старшего сына Виктора, 1912 года рождения, и двух его братьев-близнецов – Кирилла и Мефодия, названных так по воле историка-отца. Они были двумя годами младше.

Виктор Евгеньевич Демилле-пятый восемнадцати лет выпорхнул из материнского дома, освободив мать от заботы о нем. Он уехал в Томск, поступил там в открывшийся медицинский институт, окончил его и отбыл еще дальше – в Приморье: сначала в город Уссурийск, а потом – во Владивосток. Там за год до войны родился Евгений Викторович. Мать его Ана-

стасия Федоровна была из украинских поселенцев, переехавших в Приморье в начале века, работала в больнице санитаркой, потом – медсестрой; в той самой больнице Владивостока, где Виктор Евгеньевич работал хирургом.

Надо сказать, что удаленность врача Демилле от европейских центров России, возможно, спасла ему жизнь, ибо его младшие братья Кирилл и Мефодий бесследно исчезли в 1937 году, будучи еще совсем молодыми людьми. К тому времени оба они, активные осоавиахимовцы, были призваны в Военно-морской флот по комсомольскому набору и проходили обучение в морском экипаже Кронштадта. Оттуда в ненастную ноябрьскую ночь их вывезли на катере в Ленинград, где следы затерялись. Мать Екатерина Ивановна несколько месяцев ничего не знала, а узнав об аресте, послала с оказией в Уссурийск, где работал старший сын, короткое письмо: «Витя! Кирюшу и Мишу взяли. Не пиши мне больше, пока это не кончится. Твои письма я сожгла, адрес потеряла. Благодарю Бога, что отец не дожил до этого. Прощай, мой хороший! Твоя мама».

Однако Екатерина Ивановна бумаги сына, которые могли бы указать на его местонахождение, не сожгла, как писала в записке, а надежно припрятала – и не напрасно. Через полгода после ареста близнецов пришли и к ней, произвели обыск... Надо думать, искали след старшего сына, но не нашли.

Виктор Евгеньевич затерялся, поменял несколько мест работы, перестал в анкетах упоминать о братьях (о своем дворянстве он и раньше не упоминал, как и близнецы, за что, видимо, те и поплатились... очень уж им хотелось вступить в Осоавиахим!), но тем паче чувство вины перед братьями не давало ему покоя, глодало до самой смерти. Не разделил их долю, а должен был разделить.

И он действительно не писал матери и ничего не знал о ней целых десять лет. К тому времени Виктор Евгеньевич уже отслужил в армии (участвовал в войне с Японией), защитил диссертацию, заведовал крупной клиникой, где заявил о себе смелыми операциями; потом перешел на преподавательскую работу в медицинский институт, а в 1947 году переехал с семьей в Ленинград. Семья к тому времени пополнилась Федором и Любашей.

Каковы же были удивление и радость профессора Демилле, когда он обнаружил в Ленинграде свою постаревшую уже мать, которая жила на старом месте, в квартире, некогда принадлежавшей деду Виктора Евгеньевича – полковнику Демилле, но занимала, естественно, лишь одну комнату.

Через некоторое время реабилитировали Кирилла и Мефодия, разумеется, посмертно. Виктору Евгеньевичу удалось получить сведения о том, что Кирилл умер в Соловках еще до войны, а Мефодий погиб под Сталинградом в составе одного из штрафных батальонов.

Вскоре после этого поехали всей семьей в Шувалово, на кладбище, где похоронена была мать Екатерины Ивановны и где за серым камнем маленькой часовенки над ее могилой, в сухой, недоступной взгляду нише хранился деревянный ларец с семейными бумагами: письмами, дипломами, фотографиями. Там же находился фамильный медальон с миниатюрой, изображавшей прародителя Эжена Демилле. Ничто не пропало и не попортилось. С того дня семья Демилле как бы вновь обрела свою историю, и шестнадцатилетний Женя Демилле под руководством бабушки вычертил генеалогическое древо, началом которого был прапрапрадед Эжен. Эта работа совпала по времени с Двадцатым съездом, произведшим в голове Евгения основательную встряску. Тайна его фамилии, долгое время мучившая юношу, раскрылась полностью, хотя наученный печальным опытом отец по-прежнему не любил разговоров о дворянском прошлом семьи.

Зато бабка переживала вторую молодость. Внезапно она сделалась легкомысленной, словно не было за плечами сорока лет жизни без мужа, утеранных сыновей, блокады, случайных заработков то ремингтонисткой, то репетиторшей, то делопроизводительницей загса, то... всего не упомянешь; она, открыв наконец клапаны, без удержу вспоминала молодость, какие-то

мифические балы, штабс-капитанов, адъютантов ее свекра полковника Демилле, конки, экипажи, журнал «Ниву», первую империалистическую войну, революцию... Далее воспоминания обрывались. Однажды вдруг бабка потащила внуков Евгения и Федора на Волково кладбище, где показала им могилу прапрадеда Виктора: черный мраморный крест, на котором едва заметны были золотые когда-то буквы: «Викторь Евгеньевичъ Демилле, привать-доцентъ Петербургскаго императорскаго университета». Женя вздрогнул – так звали отца; история ходила по кругу.

Так, предаваясь беззаботным воспоминаниям и напевая модные песенки своей молодости, Екатерина Ивановна прожила последние пятнадцать лет жизни и тихо скончалась в семидесятом году, восьмидесяти пяти лет от роду. Старший сын пережил ее на семь лет. Если бы не история с домом, которая, собственно, нас и занимает, я мог бы... А почему вы притихли, милорд? Вам все понятно? Я изложил на нескольких страницах события – страшно сказать! – полутора веков... и никаких вопросов?

– Я размышляю.

Итак, Евгений Викторович Демилле, как мы только что убедились, был французом чуть более чем на три процента. Точнее, в его жилах текла одна тридцать вторая французской крови. Нельзя сказать, чтобы оставшаяся жидкость была чисто русской: наблюдались украинцы по материнской линии, проглядывалась в конце прошлого века двоюродная прабабка-эстонка, за спиной которой из глубины лет смотрели строгие лица финнов, затесалась в компанию и грузинская княжна, каким боком – понять трудно; но французов больше не было ни единого. Тем не менее окружающие единодушно считали Евгения Викторовича французом, чему способствовали кроме фамилии неизвестно каким чудом сохранившийся от далекого русильонца нос с горбинкой и не совсем славянский разрез глаз.

– Вот еще один факт в вашу главу о носах, мистер Стерн!

– Да, носы на удивление живучи!

Конечно, брат Федор и сестра Любовь были французами не более (но и не менее!), чем Евгений. Интересно, что к своему происхождению все трое относились совершенно по-разному.

Евгений Викторович уважал свое прошлое, однако фамилия вызывала у него противоречивые чувства. С одной стороны, он гордился достаточной избранностью и единственностью фамилии в телефонной книге, но с другой – сознавал, что французские лавры («Скажете тоже, лавры!...») не совсем им заслужены и те три процента крови далекого предка, что насчитывались в его организме, с большой натяжкой оправдывают иностранную фамилию. Посему он постановил прекратить ее начиная со своего сына Егора, в котором вышеназванной крови была совсем крохотулька, и дал ему фамилию жены – Нестеров, благо она обладала, на взгляд Евгения Викторовича, несомненными достоинствами: была чисто русской, не слишком распространенной и слегка патриархальной. Слишком хорошо помнил Демилле все дурацкие школьные прозвища, связанные со своею фамилией, и двусмысленные остроты насчет его французского происхождения!

Нечего и говорить, что Демилле также не позволил своей жене Ирине менять девичью фамилию при замужестве. Иными словами, Евгений Викторович сознательно пресек если не род Демилле, то его подлинное имя.

Брат Федор был еще более решителен. На него сильное впечатление произвела история дядюшек Кирилла и Мефодия, о существовании которых он впервые узнал в четырнадцать лет. Федор пришел к выводу, что исключительная его фамилия, да еще в сочетании с именем, никак не сможет сослужить доброй службы. То ли он боялся повторения смутных времен, то ли гены восстали против иностранщины, но факт остается фактом: Федор сознательно насаждал в себе русское: отпустил бороду, завесил стены иконами, потом сбрил бороду, снял иконы, женился и принял фамилию жены. Федор Демилле стал Федором Шурыгиным. Брата и сестры

он сторонился, два года назад вступил в партию и уехал по контракту в Ливию строить цементный завод.

Но то, что выделяла со своим почтенным родом Любовь Викторовна Демилле, младшая сестра обоих братьев, с трудом поддается описанию.

Казалось бы, у Любаши было преимущественное положение перед братьями. Достаточно было выйти замуж, принять фамилию мужа и... прости-прощай далекий русильонец, французское прошлое, дворянская приставка! Однако Любовь Демилле свято берегла и приумножала свою фамилию.

– Как «приумножала»?

– А вот как.

Восемнадцать лет Любаша забеременела – как водится, совершенно неожиданно для родителей, ибо никакого намека на жениха не наблюдалось и в помине, хотя хвост воздыхателей подметал пыль перед домом Демилле с той поры, как Любаше исполнилось пятнадцать. Обходилась она с воздыхателями сурово, в свои сердечные тайны близких не посвящала... Была таинственна – глазки блестели то радостно, то печально, а то вдруг темнели, будто на смуглое Любашино лицо набегала тучка. И вдруг – на тебе!

Анастасия Федоровна подступалась с расспросами, снаряжала братьев, чтобы те выследили дерзкого совратителя (Евгений Викторович вечерами сидел в густой листве тополя перед крыльцом, точно дозорный, карауля провожатых сестры – это в двадцать пять-то лет! Стыдно вспомнить!), – но все напрасно. Любаша как в рот воды набрала, твердила только: «Отстаньте! Что хочу, то и делаю!» И сделала.

Собственно, ни мать, ни отец рожать не отговаривали. Но не худо было бы иметь мужа – хоть какого! – все ж отец, опора для восемнадцатилетней девушки... Если бы они знали, что опора эта уже находится за тысячи километров от России, в жаркой стране, под знойным небом!

Рождение ребенка произвело еще большее потрясение, чем беременность. Родилась прелестная, здоровая, крупная девочка с черными, как у мамы, глазенками, пухленькая, с многочисленными вязочками на ручках и ножках. Радоваться бы, да и только! Но была одна неприятность. Девочка была почти такая же черненькая, как ее глазки, а волосы – в мелкую и тоже черненькую кучерявинку.

Тогда впервые Виктор Евгеньевич потерял власть над собой. «Кто отец?! Где этот сукин сын!» – закричал он, когда дочь впервые внесла в дом очаровательную негрятяночку, завернутую в розовое стеганое одеяльце с кружевными салфеточками. Черное личико выглядывало оттуда, как изюминка из булки.

«Он француз, папа, – с достоинством ответила Любаша. – Мы же сами из французов». – «Француз?! – воскликнул отец, обрушиваясь на диван, как упавшая портьера. – Кто тебе сказал, что мы из французов?..» – тихим голосом закончил он. «Бабушка!» – вызывающе ответила дочь и с этими словами передала сверток с французской изюминкой в руки Екатерине Ивановне. Старушка расплылась в улыбке, негрятяночка тоже впервые улыбнулась... инцидент был исчерпан. А что делать?

Позже удалось установить – правда, не без труда, – что отцом маленькой Николь (так назвала дочку Люба) является некто Жан-Пьер Киоро, подданный независимой республики Мали. Упомянутый Жан-Пьер обучался в Советском Союзе, но рождения дочери – увы! – не дождался, ибо получил диплом врача и отбыл на родину молодым специалистом.

Справедливости ради следует сказать, что французскими у Жан-Пьера были только имя и язык, на котором он разговаривал, в остальном же молодой человек был истинным представителем Африканского континента. Любашу это нисколько не смущало.

Так в роду Демилле неожиданно появилась симпатичная негрityнoчка Николь Демилле, в свидетельстве о рождении которой в графе «отец» стоял осторожный прочерк. Отчество записали «Петровна».

– Почему «Петровна»?

– По-видимому, от Пьера...

– Николь Петровна Демилле... Любопытно!

– Самое любопытное, мистер Стерн, что в графе «национальность», когда девочка будет получать паспорт, напишут «русская».

– Русская?!

– Ну а какая же?!

Погодите, милорд, это еще цветочки. Ягодки будут впереди... Появление Николь Демилле произвело брожение в умах соседей, знакомых и сослуживцев Любаши (она работала лаборанткой в НИИ, мыла химическую посуду и готовила реактивы для опытов), однако Любаша вела себя с таким достоинством, будто дело происходило в Африке. Брат Федор, который тогда только что стал Шурыгиным, пытался наставить сестру на путь истинный, указав ей на необходимость твердого национального самосознания. Любаша, как и следовало ожидать, послала его подальше.

Итак, она воспитывала девочку (с помощью бабушки и мамы) и мыла химическую посуду. Как вдруг опять забеременела! Что за напасть! Бывает же такое, как прицепится что-нибудь к человеку, так и не отвяжешься... От кого – и на этот раз было непонятно. Евгений Викторович больше на тополе не сидел – бесполезно. Любаша оставалась такой же таинственной – ни тени смущения, даже радость я бы отметил, совершенно, впрочем, непостижимую. В назначенный срок она привезла из роддома мальчика...

– Опять негра?

– Беленького чистенького мальчика с белокурыми волосами, голубыми глазками, совершенного европейца...

– Ну слава богу!

– ...и назвала его Шандор. Как выяснилось позже, отцом его был венгр, ватерполист, член сборной команды по водному поло – могучий и красивый молодой человек, оказавшийся в нашем городе на соревнованиях и оставивший Любаши и всей стране столь прекрасный подарок.

Отчество записали Александрович, поскольку отца тоже звали Шандор. Так появился в роду Шандор Александрович Демилле. Было это через три года после рождения Николь.

Я не буду описывать состояния отца Любаши (бабушка Екатерина Ивановна умерла за год до рождения Шандора – то-то бы обрадовалась), а матушка смирилась, более того, стала смотреть на жизнь в значительной степени философски; не стану также пересказывать разговоров вокруг этого события и кратких энергичных определений, которыми награждали Любашу ближние. А за что? Какое им, собственно, дело? Любаша по-прежнему была выше этого. Жаль, что отец не понимал... Так и не понял до самой смерти, мучился, считал дочь девицей легкого поведения – более энергичным словам обучен не был. А дочь, подождав еще несколько лет, принесла в дом смугленького мальчика с черными прямыми волосами, чуть раскосого, но не по-азиатски, а по-индейски. Мальчика называли Хуаном, а отец у него почему-то оказался Василием, во всяком случае в графе «отчество» появилось слово «Васильевич».

– Откуда оно взялось? Может быть, Базиль?

– Не знаю, милорд. Про отца Хуана до сих пор сведений не имеется. Откуда он – из Никарагуа, Колумбии или Мексики, – остается только гадать. Впрочем, никто об этом не гадал. Появление Хуана было расценено общественностью как неслыханная дерзость. Стало ясно: Любовь Демилле сознательно расшатывает устои общества; ее действия квалифицировались уже не как обыкновенное распутство, а гораздо хуже – с явной политической подкладкой. Любу

обвинили в отсутствии патриотизма и бдительности (аморальность как-то отошла на второй план) – и это несмотря на то, что несчастная женщина практически в одиночку увеличивала столь низкую у нас в России рождаемость, что она на деле, а не на словах, доказывала свою верность интернационализму и, наконец, препятствовала вырождению нации, ибо, как вам известно, милорд, смешение кровей благоприятно действует на наследственность.

Любаше предложили уйти с работы. Закона, по которому ее могли бы уволить, не существует в нашем Кодексе законов о труде, а посему Любаша ответила гордым отказом и продолжала неукоснительно выполнять порученное ей дело. Посуда для опытов, вымытая ею, отличалась столь восхитительным блеском, что придрататься не было никакой возможности. Вдобавок Люба не опаздывала, не уклонялась, не склочничала, не возникала, не отлынивала, не смывалась, не сплетничала, не воображала... словом, вела себя и работала исключительно порядочно, так что начальство кусало локти, не в силах расправиться с безнравственной лаборанткой. Притом учтите, что Любаша была матерью-одиночкой троих детей! Пускай каких-никаких – африканских, мексиканских, венгерских, – но детей, на которых распространялись все льготы нашего общества, так что Любашу вынуждены были обеспечивать и пособиями, и дополнительными отпусками, и путевками, и детскими садами и яслями.

Постепенно страсти улеглись. Более того, Николь, Шандор и Хуан стали как бы достопримечательностью того НИИ, в котором работала Любовь Демилле. Уже большая часть общественности, удовлетворив любопытство и желание принять срочные меры, сменила гнев на милость; при встречах шутливо осведомлялись друг у друга: «Не слышали, как там наши „чукчи“ поживают?» (Почему-то троих прозвали «чукчами» – то ли от «Чука и Гека», то ли нашли в этом какой-то юмор.) Лишь несколько одиноких и достаточно злобных институтских женщин не переставали распространять про Любу грязные сплетни, стараясь сжить ее со свету (тщетно!), и вообще посвятили дискредитации Любви Викторовны свою скучную, плоскую жизнь.

Любовь Викторовна держалась стойко. Причем совсем не из последних сил, вовсе не изнемогая под грузом сплетен, а как-то весело и естественно, будто предложенные обстоятельства целиком и полностью входили в ее планы – какие, никто не знал. И это бесило завистниц еще больше.

Лично я, милорд, уважаю людей, к которым не пристаёт грязь.

– О чем вы говорите! Это свидетельствует о достоинстве, о благородстве... Но как же все-таки быть с моралью?

– А что такое мораль?

– Ну... Общепринятые нормы нравственности, скажем так.

– Правильно, милорд! И у нас одна мораль: человек человеку – друг, товарищ и брат, так что с этой точки зрения действия Любаша вполне укладывались в моральные нормы.

Мудрее всех вела себя бабушка Анастасия Федоровна. Стоило посмотреть на нее, когда она в окружении любимых внуков шествовала на рынок: смуглокожий Хуанчик в коляске – изогрта торчит соска, бутылочка теплого молока бережно закутана в одеяльце, рядом черненькая, как маслина, Николь с хозяйственной сумкой, а за ними на самокате – Шандор, обрусевший стремительнее всех благодаря голубым глазам и имени Саня, которое пристало к нему с пеленок.

Жили, конечно, скромно: лаборантская зарплата Любы плюс ее же премия раз в квартал (даже премии лишить ни разу не смогли!), пенсия Анастасии Федоровны, кое-какие сбережения, оставшиеся после смерти Виктора Евгеньевича (остатки Государственной премии, полученной профессором Демилле за год до смерти), незначительная помощь родственников, в частности, обоих братьев, и средства социального обеспечения... в общем, жили, не унывали.

Еще хотелось бы упомянуть об отношениях братьев и сестры. Федор, последние два года проживавший с семьей в Триполи, ограничивался поздравительными открытками и посыл-

ками на имя матери; в них, надо сказать, было и немало детских вещей, несмотря на принципиальное осуждение им Любашиного поведения. Евгений же и Люба друг к другу относились со снисхождением – именно потому, что ощущали каждый в себе неутоленную потребность в любви, принявшую у Любаши формы, только что описанные, а у брата – более привычные и пошловатые в виде скоротечных романов, сомнительных побед и беспрестанных угрызений совести. Брат и сестра будто болели одной болезнью и жалели один другого. И странно: болезнь была одна, а симптомы давала разные. Любаша в жизни никому не отдалась без любви – их было всего-то три: Жан-Пьер, ватерполист Шандор и неизвестный мексиканец (колумбиец?). От каждого не просто хотела ребенка, а родила вполне сознательно. Евгений же Викторович, напротив, загорался быстро, как сухая береста, влюблялся, летел, спешил... а потом – пшик! – убеждался в ошибке, маялся... В итоге получалось, что сходилась не по любви, а так, по дурости. Себе и другим говорил, что любит жену, и вправду любил, но как-то не так... В семье Демилле невестку недолюбливали, считали холодной и замкнутой, излишне принципиальной. Любаша догадывалась, что Ирина ее в глубине души осуждает, хотя внешне это не проявлялось. Неутоленность и в Ирине была сильна, но она прятала ее внутрь, комкала и лишь изливала обиды на мужа (впрочем, справедливые), будто надеясь, что смирное его поведение поможет вернуть бывшую когда-то любовь.

В последнее время дошло, как говорится, до ручки. Евгений Викторович все чаще являлся глубокой ночью, хандрил, был нервен. Ирина спряталась глубоко внутрь, выжидая. Нужен был толчок – и толчок произошел. Да такой внушительный! Посему и случились последующие печальные события в жизни Евгения Викторовича.

Глава 7. Незарегистрированный

С подступом восьмым «О романном времени»

– Проснитесь, милорд! Проснитесь!

Посмотрите, какое легкое утро гуляет по нашему весеннему городу! Оно скачет на одной ножке, перепрыгивая через зеркальные лужи, затянутые хрупким, как вафля, ледком; звенят трамваи, перекачиваясь, точно копилки на колесиках; воздух пахнет первыми почками; ветер врывается в открытые форточки, производя замешательство в головах юных существ женского пола и на писательских двухтумбовых столах.

Я никак не могу найти листок... там что-то было... кажется, план романа. Милорд, вы проснулись?

– Да.

– Вам еще не наскучило слушать мою историю?

– Нет.

– Учитель, вы какой-то хмурый сегодня...

Тем не менее продолжим. Но сначала я должен поделиться с вами опасениями, сходными с теми, что возникали у вас при написании «Тристрама». Помните ваше предупреждение к девятому, кажется, тому, где сетовали на то, что за время работы над романом стали старше на четыре года, тогда как в вашем жизнеописании (или жизнеописании Тристрама Шенди, от лица которого вы изволили сочинять роман; вы успели отобразить события лишь нескольких месяцев. Таким образом, получалось, что чем больше вы пишете, тем больше вам предстоит написать...

– Да, я помню... Меня действительно охватил ужас. Мне хотелось ничего не упустить в моем повествовании, посему я писал подробно, стараясь сообщить читателю не только голые факты, но и рассказать о сопутствующих им обстоятельствах. А разве возможно было не затронуть образ мыслей отца? Или дяди Тоби? Или капрала Трима? Кому бы стал интересен мой Тристрам без тех людей, которые определили духовную атмосферу всей его жизни? Но пока я выписывал атмосферу, шли годы. Знаете, это такое кропотливое занятие: буква за буквой, слово за словом... Словом, я в своем бытии двигался с большей скоростью, чем в романе. Моя реальная жизнь опережала романную так же, как пароход опережает весельную шлюпку. Я просто не знал, что с этим поделать! Так ничего и не смог придумать.

– Вот-вот, Учитель! И меня беспокоят те же мысли. Судите сами. Мы с вами находимся уже в Седьмой главе, на... (сейчас взгляну в рукопись) на сто пятьдесят девятой странице. Наши беседы продолжаются, насколько я помню, два месяца (к сожалению, бывали перерывы – я уезжал в командировку, вы тоже покидали мой дом, я давал вас почитать одной милой женщине, после того как сержант Сергеев по моей просьбе доставил ваш том в мое новое жилище из покинутой мною с такой поспешностью квартиры... Между прочим, сержант действительно стал нашим читателем! «Ладно, сержант – бог с ним! Что сказала милая женщина?» – «Она была в восторге, милорд, и сказала, что желала бы родиться на двести лет раньше и именно в Англии, чтобы иметь счастье слышать из ваших уст эту полную изящества, ума и живости речь». – «Спасибо. Я тронут»), а продвинулись мы благодаря нашей общей склонности к болтовне всего на несколько часов романного времени.

Суток не прошло, милорд! Лишь ночь промелькнула, наполненная зловещими и удивительными событиями! Мало того. Теперь мы раздвоились (я имею в виду не наше авторство, а тот факт, что благодаря исчезновению дома у нас имеется два объекта повествования: сам дом

и герой романа Демилле; вот бы им встретиться! Я просто на части разрываюсь, как Буриданов осел! Куда податься? О ком рассказать?); слава богу, я вовремя убежал из дому, прихватив кота и пишущую машинку, иначе нам пришлось бы растраиваться (Корректору: именно так! Не «расстраиваться»!), потому что я вынужден был бы описывать еще и собственные ощущения от жизни в потерянном доме.

– Короче, сударь! Как вы намерены выпутываться из положения, чтобы ваш роман не постигла участь моего?

– Вы имеете в виду...

– Зачем же сто раз напоминать, что я его не закончил?! Это бестактно, в конце концов!

– Простите, Учитель... Я намерен прибегать к сжатию. Мы будем сжимать наше сочинение с двух сторон – вы из восемнадцатого века, я из двадцатого. Как славно мы уже сжали полторы сотни лет в одной главе. Даст бог, сожмем и месяц до размеров страницы. Я предлагаю эквиваленты: год – глава, месяц – страница, неделя – абзац...

– Час – буква?

– Разумеется! И тогда, произнеся лишь имя, отчество и фамилию нашего героя: «Евгений Викторович Демилле», мы сразу продвинемся ровно на сутки? Посчитайте сами!

Евгений Викторович Демилле (сутки) проснулся в те же сутки на широкой софе в бывшем кабинете отца. На спинке стула висела одежда: отутюженные брюки, выстиранная и выглаженная сорочка, пиджак и галстук. Тут же, на сиденье стула, лежал аккуратно сложенный домашний костюм отца; под стулом чинно, выровняв носки, стояли тапки.

В первое мгновение Демилле почудилось, что и сам отец сейчас войдет в комнату, скажет: «Пора вставать, Жень. Любишь же ты поспать! Кто рано встает, тому бог дает...» Но, переведя взгляд на портрет отца под стеклом, висевший в простенке между стеллажами, Евгений Викторович снова осознал время и почувствовал, как он стремительно приближается к непоправимому воспоминанию, связанному с прошедшей ночью. Он именно приближался к нему, поскольку не совсем еще проснулся и даже попытался прикрыть глаза и вновь заснуть, лишь бы оттянуть страшный миг, когда реальность встанет перед ним во всей отвратительной наготе. Упреждая ее, он ухватился за спасительную мысль: «Померещилось, наверное... Черт-те что! Вроде бы не такой был пьяный...» – хотя знал точно, что обманывает себя. Не померещилось. Такое и спяну не померещится.

Демилле проворно поднялся, натянул отцовские домашние брюки на резинке, набросил на плечи мягкую куртку, сунул ноги в тапки... будто перевоплотился в отца, как актер перед выходом на сцену. Это соображение позволило ему на секунду отвлечься от неприятного воспоминания, и он быстренько юркнул в ванную, плотно притворив дверь. Воспоминание осталось снаружи.

Демилле тщательно умылся, почистил зубы, мысленно сосредоточиваясь на этих процессах, чтобы не допустить нежелательных дум. «Мама, где папина бритва?!» – крикнул он, обращаясь к своему отражению в зеркале. Через минуту в ванной появилась Любаша с бритвенным прибором, окинула брата быстрым понимающим взглядом, сказала: «Привет!» – и чмокнула в щеку. Евгений принялся яростно намыливать помазок. Воспоминание тонкими струйками проникало в ванную сквозь щели: обломанные трубы, бетонные плиты, факелы газа в ночи, фигуры милиции... – Демилле с отчаянием вонзил намыленный помазок в щеку.

Господи! Егорушка, Ирина... Где они сейчас? Живы ли? Что за наказание!

Выйдя из ванной, он столкнулся с матерью. Та всплеснула руками, охнула:

– Вылитый папочка... Жеша, как ты похож на папочку, – сказала она, пуская привычную слезу. – Бедненький, не дожил наш папочка... – скорбно покачала она головой, как бы приглашая сына присоединиться к трауру.

Евгений Викторович этого не выносил. Не то чтобы он был равнодушным человеком, забывшим об отце... Помнил, но помнил про себя. Его коробили беспрестанные разговоры бабушки Анастасии о «могилке», «оградке», «цветочках» (все было уменьшительным, как и «бедненький папочка», только от слова «кладбище» не удавалось образовать уменьшительное, потому, произнося его, бабушка Анастасия делалась торжественной, значительно поджимала губы). У Демилле сердце разрывалось на части при виде растерянности и одиночества, навалившегося на мать после смерти отца, но помочь ей он был не в силах; разве так же подсюсюживать: могилка, оградка... Это было выше его сил. Он до слез жалел бабушку Анастасию, но тоже про себя. Поэтому и бывал редко, чувствовал вину, раздражался, отгоняя прочь неудобные мысли о матери.

Вот и сейчас, вместо того чтобы обнять мать и шепнуть ей что-нибудь успокаивающее, он мгновенно рассердился, произнес язвительно:

– Перестань, мама! Если бы дожил, то, верно, не обрадовался бы!

– Какой ты черствый... какой ты черствый человек... – укоризненно забормотала мать, провожая его глазами в кабинет отца.

Кабинет этот оставался нетронутым после смерти Виктора Евгеньевича: стеллажи с медицинской литературой, письменный стол со стеклом, под которым располагались фотографии всех членов семьи (Ирина с Егоркой на руках), кожаное кресло отца, шкаф с его одеждой – костюмами, пальто, стопкой накрахмаленных белоснежных халатов – хоть сейчас на операцию... Евгений Викторович принялся одеваться, стараясь не смотреть на фотографии.

Лишь только он затянул галстук, в кабинет вошла Люба в халатике. Тут только Евгений Викторович заметил, что халатик сестры подозрительно задирается спереди, а под ним проступает округлый живот.

– Это что такое? – бесцеремонно спросил он, указывая на живот. – Опять двадцать пять?

– Ох, Жешка, не говори! – радостно вздохнула она. – А что я могу сделать? Не переносу аборт. Боюсь.

– А рожать не боишься...

– Рожать не боюсь. Дело привычное.

– Ну и кто же отец? – иронически спросил брат.

– За-ме-чательный! – Любаша даже зажмурилась.

– Меня интересуют имя и фамилия. А также национальность. Неужели наш? – съязвил Евгений Викторович.

Любаша вспыхнула и бросила на брата быстрый взгляд, дав понять, что разговор в таком тоне опасен. Евгений Викторович привлек сестру к себе.

– Прости, я не хотел... У меня сегодня настроение ужасное.

– Ирка выгнала? И правильно, – Любаша решила отомстить.

– Хуже... – с тоской протянул Евгений.

– А что такое?

И Евгений Викторович, усевшись в кресло отца и поместив напротив себя Любашу, принялся рассказывать. Начал он со скрипом, часто останавливался, чтобы подобрать нужное слово (как-никак завязка была деликатной), но постепенно разошелся, воодушевился и конец рассказа с ошеломляющей картиной голого фундамента, подвалов, блещущей в лунном свете воды и синих милицейских мигалок провел с подлинной живостью. Любаша рот раскрыла. Поверила сразу, безоговорочно, спросила лишь:

– Маме рассказал?

– Нет, – Евгений прикрыл глаза, откидываясь затылком на прохладную кожу кресла.

– И не будешь?

Евгений Викторович сделал паузу, будто обдумывая, хотя и без обдумывания знал, что не расскажет. Нельзя об этом Анастасии Федоровне, запрет.

– Нет, – повторил он.

И в это мгновение стал воистину блудным сыном, ибо добровольно отказался от материнского крова, обрек себя на скитания. Куда идти теперь? А ведь уходить нужно немедленно, иначе упреков не оберешься, с утра бабушка Анастасия поминает Ирину с внуком, как те волнуются – где папочка?..

– Что делать-то будешь? – осторожно спросила Любаша.

– Искать, – пожал плечами брат. – Мне один тип сказал, что могли быстро снести, а жильцов переселить. Аварийная ситуация или... по государственным соображениям.

– Да ты что! – округлила глаза Любаша.

– Не испарились же они, в самом деле! – воскликнул Демилле. – Ничего. Даст Бог, найду. Смотри, маме не проговорись.

Они вышли из кабинета и направились в кухню, где застали идиллическую сцену.

Вокруг овального стола, располагавшегося посреди большой кухни, сидели бабушка Анастасия в белом переднике и все внуки. Они перебирали пшено. Перед каждым была желтенькая горка крупы, от которой ловкие пальцы бабушки и внуков отделяли по зернышку, смахивая в сторону мусорные крупинки. Все четыре руки были разные: желтоватая, покрытая тонкой со складками кожей рука бабушки; узкая, будто выточенная из черного дерева, кисть тринадцатилетней Ники; пухлая, в веснушчатых крапинках рука Шандора и смуглая ладошка Хуанчика, которой тот не очень ловко перекатывал по клеенке желтое пшено.

Бабушка Анастасия, покачиваясь, пела под нос какую-то заунывную песню. Прислушавшись, Демилле узнал слова. «Дан приказ: ему – на запад; ей – в другую сторону...» – пела бабушка Анастасия жалостно, на манер русских страданий.

Дети дружно поздоровались с непутевым дядюшкой, причем старшие – Ника и Саня – уже, видимо, догадывались о его непутевости благодаря привычке бабушки Анастасии чувствовать и размышлять вслух.

– Обедать будешь? – сухо спросила мать, еще обижаясь на тот разговор у дверей ванной комнаты. Демилле шагнул к ней и поцеловал в темя. Обида мгновенно улетучилась.

Сдвинуты были горки крупы, на освободившемся месте возникла тарелка супа, ложка и хлеб. Евгений Викторович уселся и начал есть под наблюдением трех пар глаз, принадлежавших племянникам.

– Дядя Женья, как вы живете? – вежливо осведомилась Николь.

Евгению Викторовичу всегда приходилось делать легкое усилие над собою, когда он слышал правильную русскую речь Ники. Почему-то всегда ожидался акцент.

– Нормально, – сказал он.

– А почему Егор не приходит? – спросил Шандор, а Хуанчик задержал усердную ладошку над зерном и посмотрел требовательно.

– Он очень занят, понимаешь ли, – объяснил Демилле, чувствуя, что тоска наваливается на него нешуточная. – Он сейчас научился читать и учится писать.

– Зачем? В школе научат.

– В школе – другое дело, – уклончиво сказал Демилле и попытался переменить тему разговора. – Тебя в пионеры приняли?

– Угу, – кивнул Шандор. – Они дразнились, а я ка-ак дам одному! Нос разбил, теперь не дразнятся...

– Да, меня в школу вызывали, – кивнула Люба.

– А как же дразнились?

– Венгерцем! – выпалил Шандор.

– А ты не обращай внимания, Саня. Меня тоже дразнили, а после перестали, – посоветовала Николь.

– А тебя как же? – улыбнулся Демилле.

– По-разному. Дураки какие-то!.. «Хижина дяди Тома», – смущенно улыбнулась Николь.

– Что «Хижина дяди Тома»? – не понял Евгений Викторович.

– Ну называли так. Сокращенно – Хижка, еще Хижечка черномазая... Теперь их в комсомол не примут за расизм.

– Кого это?

– Буракова и Милованенко.

– Так им и надо, Буракову и Милованенко, – сказал Евгений Викторович, вспоминая свои беспокойные школьные годы и клички «француз» (это в начальных классах – на большее тогда фантазии не хватало), «д'Артаньян», «Арамис» и даже «Дезабилье» (это уже был изыск выпускников).

– Ладно, хватит вам! – строго сказала бабушка. – Мы все русские, от русских идем, в русские переходим. Небось, сами евреи какие-нибудь, а туда же – дразниться!

– Мама! При чем тут евреи? – укоризненно воскликнула Люба.

– При том.

В бабушке Анастасии силен был домашний беззлобный антисемитизм. Никогда не упускала случая поддеть евреев, хотя, видит Бог, ничего плохого в жизни те ей не сделали, более того – имелись близкие друзья, две или три еврейские семьи, связанные с семейством Демилле еще с довоенной поры. Те были свои, привычные, а остальные... «Зачем они едут в Израиль, вот скажи? Зачем? Чего им там нужно? Демилле обычно переводил все в шутку. Вот и сейчас он сказал:

– Ну да! Бураков и Милованенко – самые отъявленные евреи. Потомственные, вы не знали?

Дети понимающе засмеялись – вместе со всеми Хуанчик.

– Бывают и такие, – не сдавалась бабушка. – Не знаете еще... Я не понимаю тебя, Жеша! Четвертый час. Мне не жалко, сиди. Но Ириша волнуется, не знает ведь... Когда же вам телефон поставят? – вздохнула бабушка.

«Куда?» – подумал Евгений Викторович.

Он поспешно поднялся от стола, обнял матушку, поцеловал племянников и сестру и, надев плащ (уже не липкий, выстиранный и выглаженный), вышел из дома. Проверил в кармане ключи и мелочь – все было на месте.

Люба высунулась в форточку, крикнула вслед:

– Звони мне на работу!

Демилле помахал ей рукою и пошел прочь от дома. Не знал Евгений Викторович, что к этому часу он был уже официально не только блудным сыном, но и блудным мужем, если можно так выразиться.

– Блудным мужем? Это что-то новенькое!

– Да, милорд, это не совсем то же, что муж гулящий. Гулящим Демилле был несколько лет, и не без приятности, если не считать уколов совести. Но погулял, погулял – и вернулся. Всегда было, куда вернуться, как говорила Ирина. И вдруг... возвращаться некуда, он основательно заблудился.

– Потому и стал «блудным мужем»?

– Не только поэтому.

К сожалению, этот факт был уже прочно зафиксирован в одном из милицейских протоколов, поступивших в Управление, после того как сотрудники провели беседы с кооператорами и переписали наличное население дома.

Евгения Викторовича, сами понимаете, в наличии не оказалось. Тогда прямо спросили Ирину, проживает ли с нею муж, Евгений Викторович Демилле, прописанный по этому адресу. Ирина ответила отрицательно. Милиция поверила словам грустной женщины, что муж оставил

ее с ребенком, скрылся в неизвестном направлении, и она, честно говоря, не хотела бы, чтобы он вернулся. Эти слова Ирины и сыграли роковую роль в дальнейшей судьбе Демилле.

Дело в том, что он был просто-напросто вычеркнут из списка действительных жильцов дома со всеми вытекающими отсюда последствиями. Органам охраны общественного порядка не было никакого дела до внутренних неурядиц в семье Демилле, до частых отлучек Евгения Викторовича, до слез Ирины, до того, наконец, решающего факта, что в ночь вознесения дома Ирина при свече перечитывала письма мужа и, обжигая пальцы, уничтожала их в пламени, посылая тем самым прощальный привет супругу, наблюдавшему за желтым прямоугольником в небе с невиских берегов. Именно в тот момент и замаячило в душе Ирины решение, которое привело к тому, что утром в ответ на прямой вопрос милиции о муже она ответила: «Не проживает». Про себя же подумала так: «Найдет – может быть, и пушу. Не найдет – туда ему и дорога».

Обреченный на эту долгую дорогу Евгений Викторович начал ее с того, что позвонил приятелю-художнику, в мастерской которого принимал электронно-вычислительную девицу (истратил две копейки), поехал к нему домой на трамвае (истратил еще три копейки) и отдал ключ без всяких объяснений. После чего попросил взаймы десятку. Десятка была дана. Евгений Викторович засунул ее за обложку записной книжки по соседству с клочком «Фигаро» и несколько приободрился.

Поразмыслив, он решил сначала удостовериться, что ночное происшествие не привиделось ему, а также в том, что за это время не произошло новых происшествий. После этого Демилле задумал идти в отделение милиции. А что делать?

Откровенно говоря, в милицию не очень хотелось. У Демилле было предчувствие, что ничего он там не добьется. У нас при столкновении с государственными учреждениями почти всегда есть такое предчувствие, иной раз, к счастью, обманчивое.

Минут через пятьдесят Евгений Викторович был на проспекте Благодарности, вышел из трамвая и двинулся к улице Кооперации тем же путем, что вчера на такси. Не доходя метров трехсот, понял: ничего нового не произошло, пейзаж по сравнению с нынешней ночью не изменился, по сравнению же со вчерашним утром – изменился невыносимо.

Впрочем, кое-что новенькое было. Фундамент пропавшего дома был обнесен глухим деревянным забором с единственной дверью, на которой висел амбарный замок. У двери прогуливался постовой милиционер. Реакция немногочисленных прохожих на пропавший дом была на удивление безразличной. Это неприятно покорило Евгения Викторовича, показалось даже обидным.

Демилле не стал тревожить постового, а направился в отделение милиции, находившееся в трех кварталах от улицы Кооперации. Там за перегородкой сидел дежурный. В стороне, тоже за барьером, сидела компания из трех помятых мужчин и раскрашенной девицы с сигаретой. Демилле подошел к дежурному и, робко кашлянув, сказал:

- Простите, я по поводу дома...
- Какого дома? – поднял глаза дежурный.
- Номер одиннадцать по улице Кооперации.

По тому, как дрогнули брови у дежурного, да еще по хриплому смеху раскрашенной девицы Демилле понял, что здесь осведомлены о доме.

- Замолчи, Миляева! – прикрикнул на девицу дежурный.
- Сам заткнись! – парировала она и почти ласково обратилась к Демилле: – Опоздал, братишка. Нету его. И нас замели, начали по району горячку пороть...

Она презрительно затынулась.

– Прекрати курить! – приказал дежурный, но с места не сдвинулся. – А зачем вам? Вы кто будете? – спросил он у Демилле.

- Я живу в этом доме, – ответил тот неуверенно.

– Паспорт, – коротко потребовал дежурный.

– Нету... Остался дома.

– Фамилия, имя, отчество, – так же коротко потребовал милиционер.

Демилле назвал требуемое, дежурный записал и вышел в другое помещение, плотно приотворив за собой дверь.

– Вы... ты не знаешь, куда он делся? – стараясь быть развязным, обратился Демилле к девице.

– Почему я знаю! Да мне на этот вшивый дом тысячу раз плевать! Меня-то за что?! Я там не жила и не живу! Во жлобы!

Алкоголики солидарно закивали.

Дежурный в это время, как вы догадываетесь, связывался с городским Управлением и передавал туда для справки фамилию Демилле.

К этому моменту, то есть спустя примерно четырнадцать часов после события, были не только приняты меры по успокоению жильцов и сбору сведений о перелете, но и начал проводиться в жизнь определенный план по предотвращению нежелательных слухов, могущих распространиться по городу. План этот включал несколько основных пунктов.

1. Обнаруженные в доме и прописанные жильцы были зарегистрированы, и им было настоятельно предложено не упоминать о перемещении дома в разговорах со знакомыми, родственниками, сослуживцами и проч.

2. Прописанные, но отсутствующие по уважительной причине жильцы были также зарегистрированы. Им было немедленно и конфиденциально сообщено о случившемся по соответствующим каналам с тем же предупреждением о неразглашении, а также дан новый адрес дома, дабы они могли вернуться туда из командировки (отпуска, больницы, дежурства и т. п.).

3. Не прописанные лица, обнаруженные в доме, зарегистрированы не были, однако им тоже было предложено держать язык за зубами.

4. Жителям окружающих домов по обеим улицам – Кооперации и Безымянной – было разъяснено то же самое.

5. Новое местонахождение дома было объявлено секретным для посторонних, то есть для всех, кто не попал в первые четыре пункта. Любопытствующим соседям по улице Кооперации сообщали версию о срочном аварийном выселении и сносе дома № 11 в связи с обнаруженным подземным плывуном.

Как видим, налицо была возможная изоляция источников информации для предотвращения нежелательных слухов.

Жильцам нашего дома посоветовали, правда, уже не так настойчиво, не посещать группами и поодиночке улицу Кооперации.

– А что они там забыли?

– Любопытство, знаете... Вы бы разве не съездили посмотреть?

– Хм... Пожалуй. Но почему нельзя?

– Можно, но не рекомендуется...

А поскольку Евгений Викторович по милости жены был единственным прописанным и притом незарегистрированным жильцом, то на него распространялся п. 5. Об этом и передали из Управления дежурному, не обнаружив Демилле в списках.

Дежурный вернулся на свое место и сообщил Евгению Викторовичу, что он в доме № 11 не проживает.

– Конечно, не проживаю! – воскликнул наш герой. – Его ведь нету.

– Вы там и не проживали. Жена заявила, – парировал дежурный.

– Как?! – у Евгения Викторовича было чувство, будто его ножом ударили в спину.

– А вот так.

– Но где он? Где дом? – сразу сникнув, спросил Демилле.

Милиционер устало изложил заведомую ложь: дом снесли, жителей эвакуировали, аварийная ситуация, никто не пострадал, место расчистили, плывун...

– Но где же они, жители? Где моя жена, сын? – в отчаянии вскричал Демилле, чуть не со слезами на глазах.

– Не могу знать.

– А кто может?

Дежурный молча указал большим пальцем правой руки в потолок. Демилле, круто повернувшись на каблуках, выбежал из помещения. Он понял, что дальнейший разговор бессмыслен.

Ошеломленный случившимся, он снова, в какой-то странной надежде, отправился к родному фундаменту. «Наврали! Про жену наврали!» – твердил он про себя. Демилле попытался представить себе молниеносную эвакуацию дома – Егорка плакал, наверное... Евгений Викторович был доверчив, поверил в этот мифический плывун, рисовавшийся в его воображении этакой подземной медузой, плывущей в глубинах земли. Нет, нонсенс!.. Но куда же переселили? За какое время можно убрать с земли девятиэтажный дом? Ведь надо сначала сломать? Чем?.. Чепуха! Плывун – чепуха!

Но если бы с Ириной и Егором что-нибудь случилось, неужели в милиции не сочли бы возможным сообщить ему? Значит, живы...

Евгений Викторович добрался до глухого забора, вдоль которого все так же совершал прогулки постовой, и, стараясь не обратить на себя внимание, обошел огороженный фундамент. Как вдруг он узрел вышагивающую ему навстречу сплоченную пару – старика и старуху; оба были в голубых одинаковых плащах, шли они маршеобразно. Демилле узнал их тут же, ибо эта военизированная походка была известна всему микрорайону.

Это были Светики, Светозар Петрович и Светозара Петровна Ментихины, направлявшиеся домой после закрытия универсама.

Утром они, дав подписку о неразглашении и выслушав совет не появляться на улице Кооперации, все же сочли своим долгом поехать в контролируемый ими универсам, чтобы провести прощальную проверку и предупредить дирекцию, что они слагают... Они потрудились до закрытия, составив ряд актов на похищение майонеза и сардин атлантических в масле, а теперь возвращались на Безымянную – и все же не удержались, решили пройти мимо места, где еще давеча жили. Как бы не специально, а по пути.

Светики были на редкость дисциплинированны.

Евгений Викторович, размахивая руками, устремился к Ментихиным. В другое время он, по всей вероятности, перешел бы на другую сторону, чтобы лишний раз не поздороваться со старичками, которых недолюбливал именно за их дисциплинированность, – здоровался лишь в лифте, когда деваться некуда. Но сейчас он бросился к ним, как к родным. Примерно так бросаются друг к другу наши соотечественники где-нибудь в Новой Зеландии после годичного отсутствия на Родине.

Завидев Демилле, Ментихины разом остановились.

– Светозар Петрович! Светозара Петровна! – лепетал Демилле на бегу, изображая радостную улыбку.

Светики вели себя по-английски, милорд. Кажется, у вас есть выражение «держать жесткой верхнюю губу», то есть ничем не выдавать своего волнения?

– Да, это признак истинных джентльменов и леди.

– Так я должен вам сказать, что у Светиков осталась жесткой не только верхняя губа, но и нижняя, а также щеки, брови, нос – короче, вся физиономия. Глаза были непроницаемы.

Светики испугались, что сосед, увидевший их в запретном месте, может донести (у них с юности было такое мышление), и на всякий случай приняли неприступный вид. Конечно, они знать не знали, что Демилле чуть ли не сутки находится в блудном состоянии.

– Какая встреча! – фальшиво воскликнул Евгений Викторович, пробежав наконец до Светиков и неловко дернув рукой, будто хотел обменяться рукопожатием. Все четыре руки Ментихиных не выразили ни малейшего на это желания.

– Прогуливаетесь? – заискивающе спросил Демилле.

Светики молчали.

– А я вот тоже... Ну и где вы теперь? – совсем ослабевшим голосом продолжал Евгений Викторович и поспешно поправился, задав вопрос, испортивший все дело:

– Куда вас... эвакуировали?

– Я не понимаю, – тихо сказала Светозара Петровна, не глядя на бывшего соседа.

– Ну как же! – несколько осмелел Демилле. – Вас же переселили? Куда, хотелось бы знать? Нас, например, в Смольнинский район с семьей, – соврал он.

Ментихины мигом сообразили, что Демилле не в курсе. Почему он не в курсе – его личное дело, но вводить его в этот курс Светики отнюдь не собирались.

– Извините, мы вас не понимаем. Вы, вероятно, нас с кем-то путаете, – ледяным тоном произнесла Светозара Петровна.

– Как это путаю? Вы мои соседи! Я ваш сосед!.. Светозара Петровна, Господь с вами!

– Я не Светозара Петровна, – сказала старуха.

– А я не Светозар Петрович, – добавил старик.

Они разом возобновили движение с левой ноги и прошли мимо Демилле, точно мимо столба, не повернув головы. Евгений Викторович ошеломленно смотрел в их голубые, без единой складочки спины.

– Я Демилле! – крикнул он в отчаянии.

Ответа он не получил. Светики удалялись равномерно и прямолинейно, как электричка от перрона. Через несколько минут их голубые плащи слились в одно пятно, которое растаяло в сумерках. Евгений Викторович беспомощно провожал их глазами.

Тут Демилле немного тронулся. Удивительно, но исчезновение дома не привело его в такое идиотическое состояние, как исчезновение Светиков. Евгений Викторович глупо рассмеялся, потом нервно захохотал и, продолжая хохотать, перелез через низкую ограду детского сада, а там неожиданно для себя забрался в ту самую бетонную трубу, откуда ночью наблюдал за милиционерами. Стоя в трубе, он всхлипывал, согнувшись, утирал рукавом плаща слезы и повторял: «Я – не Демилле! Я – не Демилле! Я – не Демилле!..»

Последующий час он отходил от нервного потрясения, выйдя из трубы и устроившись на низком деревянном крокодиле...

– Крокодиле?

– Да, такая изогнутая штукавина из деревянных колобашек, по форме напоминающая крокодила. Она служит детям для развлечения.

Демилле курил, смотрел на выглянувшую из-за детского сада луну и ни о чем не думал. О доме тоже. Потом посмотрел на часы. Была половина одиннадцатого. Холодно. Чертовски тоскливо. Гнусно.

Из оцепенения его вывела появившаяся на крыше детского сада темная фигура, которая вылезла неизвестно откуда, в одной руке держала стул, а в другой – какую-то длинную толстую палку. Все это видно было лишь силуэтом. Фигура устроила стул на крыше, уселась на него и приставила палку к голове, другой конец палки она устремила в небо.

Демилле ничему не удивлялся.

– Эй, на крыше! – слабо позвал он.

Глава 8. Жертва телекинеза

С подступом девятым «О природе вещей»

– Я знаю, милорд, что название подступа мною заимствовано. Оно заимствовано у Лукреция, который когда-то, очень давно, сочинил трактат под тем же наименованием. Вы читали?

– Пробовал.

– И я пробовал. Теперь мне хочется развить свой взгляд на эту природу, конечно, не столь всеобъемлюще, как это сделал Лукреций, но все же. Мне кажется, у меня есть дельное соображение.

– А зачем это вам?

– Видите ли, мистер Стерн, я, как и вы, прежде чем сочинять романы, имел другую специальность. Вы были профессиональным пастором, я же – профессиональным ученым. Как видите, ни вас, ни меня профессиональная деятельность не удовлетворила и мы кинулись искать истину на скользком литературном пути... Скажите, как вы относитесь к науке, милорд?

– К учености?

– Допустим, к учености.

– К учености – подозрительно. Мне кажется, а вернее, казалось в моем веке, что маску учености часто надевают дураки, чтобы писать свои философские трактаты (я не о Лукреции), в которых добраться до сути так же невозможно, как найти черную кошку в темной комнате. Тем более когда кошки там нет. Знаете, в наше время достаточно было доверять здравому смыслу, чтобы верно судить о том, что вы называете «природой вещей».

– Я того же мнения об учености. Кстати, о набожности тоже. Но если отбросить дураков, подлецов, карьеристов, любителей пускать пыль в глаза и прочих, то останется небольшое количество людей, которое честно пытаются разобраться в природе. И к тайне природы они подходят либо со стороны науки, либо со стороны веры. Во всяком случае, эти два подхода никогда не смешивались. Истинные ученые всегда были материалистами, истинные же служители культа не сомневались в существовании духа, или идеи, управляющих миром.

Все развитие науки, казалось, блистательно подтверждало материалистическую идею. В самом деле, любое явление природы, казавшееся необъяснимым, имеющим божественное происхождение – будь то гроза, движение Земли вокруг Солнца, извержение вулкана, человеческая наследственность – рано или поздно объяснялись материалистически, так что у человечества постепенно выработался взгляд, согласно которому все непознанные явления – суть пока еще непознанные явления; остается запастись терпением и дожидаться, когда их объяснят.

Сознаюсь, что и я исповедовал этот ясный взгляд до...

– Пока вас не потрянуло как следует?

– Именно, мистер Стерн! До той самой минуты, когда я, прижав одной рукою к груди корзинку с котом Филаретом, а в другой неся пишущую машинку, не махнул из своего окна на крышу соседнего дома. Тогда, гулко топоча по кровельному железу, я обдумывал прежде всего научный вопрос. Как? Как это случилось?.. Уже потом, сочиняя роман, я задавался иными вопросами: о Демилле, сестре его Любаше, Егорушке или тех же Ментихиных. Но тогда...

Сейчас я намерен изложить свой взгляд на научное существо проблемы, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться.

– Все равно Бог есть.

– Вы можете это доказать?

– Сударь, разве наша беседа не убеждает вас в этом? Я умер, как вам известно... Когда я умер?

– В 1768 году.

– Тем не менее мы мило беседуем. Как вам это нравится?

– Но ведь я... Ваши реплики, милорд, сочиняю я...

– Вы?! Господи, помилуй! Какая самонадеянность! Я смеюсь и заливаюсь... Ну тогда сочиняйте дальше. Я посмотрю, как это у вас получится.

– Я пришел к убеждению, что природа в целом – такое же изменчивое живое существо, как... как дерево, человек, гриб, собака. Ее законы не являются незыблемыми на все времена. Они изменяются, причем темп изменения тоже может меняться. То вдруг природе может показаться, что ускорение прямо пропорционально силе, то вдруг она может изменить взгляд и хотя бы в части своих владений ввести иной закон, другими словами, природа нелинейна и неизотропна по отношению к соблюдению своих же законов. Вы понимаете?

– ...

– Так же изменчива она и в выборе между материализмом и идеализмом. Между ними нет четкой границы. Поясню на примере. Чтобы поднять в воздух наш дом, пользуясь материалистическими средствами, требуется определенная, и довольно большая, энергия, не говоря о соответствующих двигателях и способах подъема. Но иногда можно подняться в воздух и идеалистически – без ничего. Что и продемонстрировал наш дом. Выбор манеры всецело принадлежит природе. Это примерно то же, что выбор между реалистической и фантастической манерами повествования. Можно так, можно эдак. Результат должен быть один. Впрочем, я об этом уже говорил.

Я думаю, что природа также учится, ей также интересно испытывать новые явления – как материалистические, так и идеалистические. Раньше говорили так: «природа хитра, но не злонамеренна». Я не утверждаю, что она злонамеренна, но она все же хитра. Обнаружив, что человек научился объяснять ее материалистически, она подкидывает ему новые загадки, требующие изменения метода.

Я уже говорил о НЛО. Сюда же можно включил и парапсихологию, и левитацию, и биополе, и черта в ступе. Бесплезно ждать сугубо материалистического описания этих явлений. Либо мы должны ввести научное понятие «душа» и оперировать им с той же легкостью, как мы оперируем энергией, массой, зарядом.

Кстати, о душе, милорд, вы и говорили однажды в «Сентиментальном путешествии». Мы взяли этот эпиграф, помните?

– К чему вы вообще затеяли этот разговор?

– Да потому что научное объяснение феномена перелета дома заботило, как вы догадываетесь, не одного меня. Над этой проблемой принялись работать сразу же несколько лабораторий, в которых мозги были – не моим чета! Потому что их объектом исследования стал несчастный, неповинный ни в чем кооператор! Потому, наконец...

– Зачем вы горячитесь? Вот и рассказывайте о кооператоре. Я послушаю с удовольствием.

Тогда вернемся опять на улицу Кооперации, чтобы тут же умчаться с нее ветреной апрельской ночью в желто-синей милицейской машине. Хвыленко сопел, Завадовский испуганно поджимал под себя ноги, гладил скулившую Чапку, зябко ежился. Темнота пахла бензином. Маленький кооператор оказался сорванным с привычных орбит и брошенным в черный никотино-бензиновый космос, в то время как супруга его Клара Семеновна еще сладко спала на египетской перине, правда, теперь уже неподалеку от Тучкова моста.

Завадовский был единственным очевидцем. Посему, доставленный в городское Управление, он сразу же попал довольно высоко, к полковнику, вызванному по тревоге, который вежливо допросил его (протокол писал капитан), а затем отправил спать в удобное помещение, где стояла заправленная койка, на спинке которой висело вафельное белоснежное полотенце...

тумбочка... графин... Туалет и умывальник. На камеру предварительного заключения комната была похожа лишь тем, что запиралась снаружи.

Завадовский с Чапкой зашли в эту неожиданную гостиницу и расположились на ночлег. Валентин Борисович залез под тонкое солдатское одеяло в пододеяльнике, Чапку пристроил рядом с собой, не переставая ее поглаживать. «Видишь, Чапа, не бросили в беде, помогли...» – убеждал собачку кооператор, уговаривая больше себя, чем фоксика.

И вот пока метался по ночному городу Демилле, пока милиция окружала прилетевший на Безымянную дом и проводила утреннюю операцию, Завадовский спал. Разбудил его капитан милиции, который зашел в комнату с незнакомым молодым человеком в штатском.

Завадовский протер глаза и спрятал Чапку под одеялом.

Пришедшие вежливо поздоровались, осведомились о сне, предупредительно кивали. Внесли чай с булочками, не забыли и Чапку, которой принесли на тарелке мокрую, с остатками мяса и застывшего жира кость, будто только что вынутую из холодного супа. Чапка с урчанием вцепилась в нее.

Молодой человек в штатском представился. Назвался он Тимофеевым Робертом Павловичем, старшим научным сотрудником. Кого или чего сотрудником – не сказал.

Выпили чаю втроем в принужденных разговорах о Чапе, затем Тимофеев с капитаном встали и мягко попросили Завадовского следовать за ними.

– На допрос? – с робким вызовом спросил кооператор, но тут же испугался своего микробунта и пожаловался: – Я же в одной пижаме, товарищи. Неудобно!

– Все в порядке, Валентин Борисович, – дружески обнял его за плечи Тимофеев и увлек в коридор. Чапка, виляя хвостиком, последовала за ними. Капитан поймал ее и взял на руки.

– Валентин Борисович, собачку мы пока пристроим.

– Это не трудно? – обеспокоился Завадовский.

Капитан лишь улыбнулся, давая понять, что здесь ничего не трудно. После чего удалился с Чапой по коридору.

Тимофеев провел кооператора в другую комнату со множеством шкафов, открыл один из них и вынул оттуда серый костюм на плечиках и плащ-болонью. Из ящика в другом отделении шкафа он извлек новенькую сорочку, запечатанную в хрустящий прозрачный конверт. Явились и полуботинки – тоже новенькие, чешские, в коробке.

Тимофеев закурил, лениво наблюдая, как Завадовский одевается и прячет пижаму в коробку из-под туфель, против воли бормоча слова благодарности.

Через минуту он предстал перед научным сотрудником в полном блеске, как диссертант перед защитой. Немного волновался.

Далее преображенного кооператора вывели из Управления, выписав специальную бумажку на выход, и повезли в черной «Волге» по городу. Ехали минут двадцать и остановились у большого здания где-то в районе Политехнического института.

Тимофеев проводил Завадовского в вестибюль через стеклянные двери, рядом с которыми не было никакой вывески. Последовал разговор Тимофеева по внутреннему телефону, выписка пропуска, проход через турникет, лифт, коридор, еще коридор... Попадались сотрудники в штатском и белых халатах, очень немногочисленные. Завадовский понял, что не тюрьма, – ему стало интересно. Наконец они вошли в большую комнату с табличкой на двери «Лаборатория № 40».

Вдоль стен стояли письменные столы, а посреди комнаты располагался деревянный куб с полированной верхней гранью – довольно внушительный. В углу комнаты Завадовский заметил сооружение на треноге, по виду киноаппарат. Объектив его был нацелен на куб.

В комнате находились двое – мужчина и женщина. Мужчина был лет под шестьдесят, в черном костюме, толстый, лысоватый, с большим мясистым носом и маленькими глазками. Костюм на нем лоснился и в точности повторял формы тела, а вернее, его выпуклости.

Женщина была молода, в крахмальном белом халате.

Толстяк бросился к вошедшим и пожал руки сначала Тимофееву, потом Завадовскому, взглядывая на Валентина Борисовича с предвкушением счастья.

– Академик Сvirкин Модест Модестович, – представил толстяка Тимофеев.

– Сvirкин, Сvirкин! – возбужденно закивал академик, улыбаясь.

Женщину звали просто Зиновья. Она, по всей видимости, была лаборанткой.

– Ну-с, начнем? – проговорил Сvirкин, в нетерпении шевеля толстыми короткими пальцами.

– Модест Модестович, я еще не рассказывал Валентину Борисовичу о смысле предстоящей работы, – сказал Тимофеев.

– И прекрасно! Лучше быть не может! А вот мы сразу и проверим, без всякого смысла! – вскричал академик и, отбежав к стенке, уселся на стул.

– Зиновья, давайте первый тест, – сказал он.

Лаборантка достала из кармана халата обыкновенный спичечный коробок, подошла к кубу и положила коробок с краю, у самого ребра, в его середине. Затем она грациозно повернулась и отошла.

Тимофеев направился к киноаппарату и нажал на кнопку. Камера глухо застрекотала.

Завадовский ничего не понимал. Он чувствовал себя подопытным кроликом – да, пожалуй, и был им.

– Валентин Борисович, – задушевно проговорил академик, лаская взглядом кооператора, – мы вас сейчас попросим сосредоточиться на этом коробке, – он сделал жест ладонью по направлению к мирно лежащему коробку, – и представить себе, что он... как бы это выразиться... ползет! Да-да, ползет по поверхности!

– Куда? – испуганно спросил кооператор.

– Куда угодно! – рассмеялся Сvirкин. – Скажем, слева направо.

Завадовский робко уставился на коробок и, собрав разбегавшиеся в стороны мысли, попытался честно представить предложенную ситуацию.

Зачем? Почему? Что за ерунда?... Где Клара? Где дом?

Коробок вдруг дернулся с легким шорохом, вызванным находящимися в нем спичками, и послушно, как овечка, пополз к противоположному ребру куба. Доехав до него под ровное стрекотание камеры и напряженное молчание экспериментаторов, коробок, естественно, свалился на пол.

Завадовский почувствовал, что мельчайшие капельки пота выступили у него по всему телу. Капельки были холодные и острые, как канцелярские кнопки. Может быть, это были мурашки.

– Bravo! – воскликнул Сvirкин, выйдя из оцепенения. – Зиновья, дубль номер два!

Зиновья схватила кинематографическую хлопушку, что-то написала на ней мелом, хлопнула перед объективом камеры, затем подняла коробок и водворила его на прежнее место. Все это она проделала с профессиональным хладнокровием и артистизмом.

– Снова! – потребовал академик.

– Что снова? – прошептал несчастный кооператор.

– Двигайте снова!

В трусливом мозгу кооператора вспыхнула искра протеста. Он уставился на ненавистный коробок, отчего тот подпрыгнул и рыбой скользнул по полировке куба к противоположному краю. По инерции коробок пролетел еще метра два и с треском упал.

– Бис! Bravo! – закричал академик, аплодируя. Он был возбужден, как дитя в цирке. Тимофеев, стоявший у аппарата, побледнел. Лишь Зиновья была индифферентна. По всему видать, ей эти опыты уже осточертели.

– Зинуля, тест номер два!

Лаборантка положила коробок в центр полированной грани и снова проделала процедуру с хлопушкой.

– А теперь, – заговорщически обратился Сvirкин к кооператору, – я прошу вас, любезнейший Валентин Борисович, мысленно приподнять этот коробочек... – Сvirкин на сей раз указал на него отставленным мизинцем. – Пускай он немного... э-э... летает. Ну-ка!

Завадовский был человеком тертым, но покорным. Его тертость подсказывала ему, что ни в коем случае не следует идти на поводу у этого толстяка-академика, нужно хитрить и изворачиваться, потому как неизвестно, что может получиться из этой странной способности, обнаружившейся вдруг у него. Но страх, но покорность... Завадовский съезжился и пронзил коробок взглядом. «Лети, сволочь!» – мысленно выругался он. Коробок взвился в воздух, как пробка от шампанского. Со свистом он достиг потолка, ударился об него и раскололся. На пол посыпались спички.

Академик пришел в восторг. Он качался на стуле, всплескивал руками и заливался совершенно счастливым хохотом. Вдруг он перестал смеяться, вытер слезы носовым платком и погрозил Завадовскому пальцем.

– Вы опасный человек, любезнейший!..

Вот! Вот оно! Опасный человек!.. Завадовский струхнул еще больше.

Лаборантка с достоинством принялась подбирать с пола спички, но академик остановил ее.

– После, после! Давайте измеритель динамического усилия. Роберт Павлович, помогите! А вы присядьте, Валентин Борисович.

Завадовский опустился на придвинутый к нему стул, с ужасом наблюдая, как лаборантка и старший научный сотрудник укрепляют на кубе непонятное сооружение, состоящее из станины, на которой находилась железная тележка на колесиках... рельсы... пружины... указатель с делениями, как у весов... «Зачем это?» – опасливо подумал кооператор.

– Все по местам! – скомандовал Сvirкин, когда сооружение было установлено. – Видите тележку? – обратился он к Завадовскому. – Двигайте ее по рельсам к себе! Сосредоточьтесь! Максимум напряжения! Тяните изо всех сил!.. Да не руками! Мыслью! Мыслью!..

Завадовский зажмурился и, скривившись, как от клюквы, принялся мысленно тянуть треклятую тележку. Он услышал скрип и открыл глаза. Тележка рвалась со станины, натягивая железную пружину. Казалось, вот-вот она сорвется и, как снаряд, улетит в стену. Академик и Тимофеев, подскочив к указателю, впились глазами в стрелку, которая медленно двигалась к красной черте. Завадовский жалобно всхлипнул и закрыл лицо руками.

Раздался звонкий удар. Оттянутая пружиной тележка водворилась на прежнее место, едва не разломав сооружение.

– Двести десять килограммов! – вскричал академик. – Мировой рекорд! Колоссально! Просто колоссально!

Он подбежал к Завадовскому, отнял его руки от лица и расцеловал кооператора. Не переставая покрикивать: «Мировой рекорд!» – академик, приплясывая, пустился по комнате, радуясь так, будто он сам, а не Завадовский, установил мировой рекорд.

– Да вы понимаете, что произошло?! – вдруг накинулся он на лаборантку, которая по-прежнему была безучастна.

– Понимаю, Модест Модестович. Не дура, – надменно произнесла Зиночка.

– А-а! – махнул на нее рукой Сvirкин. – Силища! Какая силища! – крикнул он Тимофееву, возившемуся с кинокамерой.

И тут Валентин Борисович горько заплакал. Рыдания сотрясали его худое тело. Кооператор согнулся на стуле и уткнулся лицом в ладони, выплакивая новое свалившееся на него несчастье, ибо понял, что настал конец его беззаботной пенсионной жизни. Валентин Борисович не догадывался о научном значении опыта, далеки от него были и физические причины

явления, но главное он понял четко: он, Валентин Борисович Завадовский, больше не принадлежит себе, ибо черт его дернул установить мировой рекорд в черт знает каком виде спорта. Старая цирковая память услужливо подсунила ему холодящую кровь барабанную дробь перед рекордным трюком, тишину – и взрыв литавр и аплодисментов. Завадовский никогда в жизни – один или совместно с Кларой – не был обладателем рекордного трюка. Зачем же он ему теперь? Кооператор плакал, как ребенок.

Конечно, к Валентину Борисовичу бросились экспериментаторы: «Переутомился!.. Нервное напряжение!..» – сняли со стула, сунули в рот какую-то таблетку, бережно обняв, вывели из лаборатории. Завадовский плохо помнил, куда его повели, и обнаружил себя уже в медпункте, на жесткой лежанке с клеенчатой подстилкой под туфлями...

– Может быть, вы все же объясните, что это значит? Что произошло с Завадовским?

– Очень просто, милорд! Перелетом дома в ту же ночь заинтересовалась наука, да так сильно, что лаборатория номер сорок одного закрытого НИИ во главе с академиком Свиркиным была вынуждена проводить эксперименты в субботний, нерабочий день.

– Но при чем здесь Завадовский?

– А вот при чем...

Как вы уже знаете, Завадовский был единственным свидетелем происшествия, известным органам милиции. И это сразу же дало повод рассматривать его в качестве подозреваемого...

– Но не могли же они предположить, что этот щупленький кооператор поднял в воздух девятиэтажный дом!

– А телекинез, милорд?

Единственной разумной гипотезой относительно причин вознесения дома мог быть только телекинез. Телекинез, мистер Стерн, – это способность приводить в движение материальные тела посредством мысли, духовного усилия, не входя в контакт с телом. Гипотеза родилась в городском Управлении, ее подтвердил и разбуженный срочным ночным звонком академик Свиркин.

Виновника перелета дома следовало искать снаружи. В самом деле, если бы кто-нибудь из жильцов дома вознамерился отправиться в воздушное путешествие, не выходя из квартиры, то это был бы не телекинез, а левитация. Скорее всего, такой субъект взлетел бы к потолку и принялся, упираясь в него, отрывать дом от фундамента. Маловероятно! Даже если бы у него нашлись силы, он просто проломил бы перекрытие.

Телекинез представлялся более разумным. Но кто мог его осуществить? И тут подозрение пало на Завадовского.

В самом деле, посторонний прохожий вряд ли просто так, из баловства, мог решиться на подобную акцию. Это мог сделать свой кооператор, какой-нибудь нервный вспыльчивый человек, обиженный судьбою и женой, который в состоянии аффекта мог, выбежав из подъезда, послать всех к чертям собачьим.

Улики против Завадовского были такие:

- а) невообразимо поздний час выгула собачки (кто же выгуливает собак в три часа ночи?);
- б) Завадовский был единственным из кооператоров, находившимся в тот момент вне дома, но рядом с ним (о Демилле не знали);
- в) Клара Семеновна (сразу же проверили, что она собою представляет, а проверивши, пришли к заключению, что на месте Завадовского каждый разумный человек поступил бы точно так же).

В пользу кооператора говорило следующее:

- а) сам позвонил (впрочем, это могла быть уловка для прикрытия);
- б) одет кое-как (то же самое);
- в) никогда не обнаруживал способностей к телекинезу (а вот это надо проверить!).

Как мы видели, милорд, проверка дала ошеломляющие результаты. Реакция на телекинез, если можно так выразиться, была положительной! Завадовский сразу же, несмотря на плохую физическую форму после ужасной ночи, шутя побил мировой рекорд динамического усилия, принадлежавший какому-то индусу и равнявшийся – смешно сказать! – весу трех бананов, которые йог сумел придвинуть к себе, причем будучи в голодном состоянии.

Разумеется, до девятиэтажного дома было далеко, но как знать! В определенных условиях, спровоцированный Кларой Семеновной, кооператор мог превзойти самого себя и швырнуть в воздух многотонную постройку...

Вслед за экспериментом последовало медицинское обследование Завадовского в медпункте НИИ, и Валентин Борисович попал в гостиницу – не ту, в которой провел нынешнюю ночь, а в настоящую, ведомственную, закрытого типа. Сопровождал кооператора на всем пути Тимофеев.

В одноместном номере Валентин Борисович, к своему удивлению, обнаружил не только предметы туалета, оставленные в Управлении, но и свои вещи из гардероба, улетевшие вместе с домом: костюмы, рубашки, галстуки, свитер, махровый халат и домашние тапки. На стене висела большая фотография, украшавшая прежде комнату Чапки: Валентин Борисович и Клара Семеновна выезжают молодыми на арену в седлах своих одноколесных велосипедов – на Кларе открытый костюм с блестками, страусовые перья. Валентин Борисович чуть не заплакал...

Чапка тоже находилась в номере, спала, как ни в чем не бывало, устроившись в мягком кресле. Телевизор, холодильник, телефон... на столике лежали документы Завадовского.

– Я буду здесь жить? – покорно догадался кооператор. – А где же Клара? Где они... все?

Завадовский имел в виду своих соседей, жильцов, кооператоров. Похвально, что он о них вспомнил!

– Не волнуйтесь, Валентин Борисович, – успокоил его Тимофеев. – Вы же понимаете, что такое... не часто случается. Требуется время, чтобы разобраться, все выяснить...

– Но откуда это... и фото... – бормотал Завадовский.

– Все живы, катастрофы не произошло. Супруга передает вам привет, – сказал Тимофеев, внимательно наблюдая за лицом Валентина Борисовича.

Вскоре пришли полковник с капитаном. Тимофеев не отлучался ни на секунду. Вчетвером сели за столик, появились бутылка коньяка, сыр, колбаса, копченая рыба. Короче говоря, обстановка никак не напоминала допрос, а скорее – дружескую беседу. Капитан лишь время от времени склонялся к открытому портфелю, чтобы сменить кассету портативного магнитофона.

– Значит, обнаружили наклонности? – добродушно спросил полковник, осушив первый тост за Валентина Борисовича.

– Какие? – испуганно встрепенулся Завадовский.

– Ну, к этому... к телекинезу, – пояснил полковник.

– Как... те... что? – еще больше испугался кооператор.

Надо сказать, что Завадовский в жизни не слышал этого слова. Все его представления о паранауках ограничивались фокусами Кио, имеющими, как известно, сугубо материалистическую основу.

– Любопытно было бы взглянуть... – продолжал полковник, посасывая осетрину холодного копчения.

– Федор Иванович, пленка в проявке, – быстро доложил Тимофеев.

– То кино! – отмахнулся Федор Иванович. – А здесь в натуре.

Капитан достал из портфеля сигареты и, распечатав пачку, положил ее на стол. Федор Иванович указал на пачку:

– Валентин Борисович, не в службу, а в дружбу подтолкните ко мне... Усилием воли, если не трудно.

«Опять!» – подумал Завадовский и осторожно, легким толчком мысли придвинул пачку к полковнику. Тот захохотал, как нынче академик. Вытянул сигарету из пачки, сунул в рот и вдруг хитро подмигнул:

– А зажечь без спичек можете?

Завадовский прикрыл глаза, стараясь представить себе горящую сигарету во рту полковника. Когда он открыл глаза, Федор Иванович уже затягивался.

Тимофеев чуть в обморок не упал.

– Нет, это не телекинез, – пробормотал он. – Это хуже...

Но дальше беседа, слава богу, уклонилась от телекинеза и других непонятных штук, свернув в житейское русло. Полковник с участием расспрашивал Валентина Борисовича о бывшей работе, об условиях вступления в кооператив: сколько выплатили? кто ответственный пайщик? Интересовался здоровьем Клары Семеновны и сколько лет они состоят в браке...

Завадовский отвечал коротко и обдуманно, но всегда чистую правду. Вскоре он слегка разомлел от коньяка, и собеседники представились ему сочувствующими, заинтересованными, почти родными людьми. Завадовский разоткровенничался.

В его рассказе мелькнули нотки обиды на Клару, воспоминания о Соне Лихаревой и ее собачках, одна из которых, кстати, наличествовала в виде Чапки; вспомнил кооператор и о стрижке пуделей, после которой шерсть неделю летает по квартире, попадает в суп, в глаза, в нос... Разве это жизнь?

– М-да... – протянул полковник. – Ваше здоровье!

Капитан перевернул кассету едва уловимым движением пальцев.

– И вы считаете, что этого достаточно, чтобы вот так, очертя голову, не посоветовавшись, решать свои проблемы? – твердым голосом, мгновенно протрезвев, спросил вдруг Федор Иванович.

– Что? О чем вы говорите? – вздрогнул Завадовский.

– Рассказывайте, Завадовский, как вы подняли в воздух ваш дом? С какой целью? Куда хотели направить? – резко произнес полковник.

– Я... Господь с ва... ку... – Завадовский хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на песок.

Видя замешательство подследственного, полковник сделал знак рукой. Капитан поднялся, вышел из номера и через несколько секунд вернулся.

Он вернулся не один. Вместе с ним в номер вошла Клара Семеновна Завадовская. Она была громадна и величественна в своем панбархатном платье с затейливой золотой брошью, в лакированных туфлях.

– Завадовский, – с нежной угрозой произнесла Клара. – Зачем ты это сделал? Тридцать лет... Разве я заслужила? Сделай все, как было, Валентин! Я требую!

Валентин Борисович сполз со стула и на заплетающихся ногах бросился к своей могучей супруге. Он обхватил ее за бока, прильнул лицом к груди, зарываясь в пышные складки панбархата, как страус головою в песок... тело его сотрясалось.

– Клара, Клара, – всхлипывал несчастный кооператор.

Чапка с радостным лаем бегала вокруг хозяев.

Глава 9. Мать и сын

Во время разговора матери с милиционером Егор сидел в кухне, не шелохнувшись, и испуганно прислушивался к словам: «Прописаны... а еще кто?.. Евгений Викторович?.. Нет, не проживает... Где? Понятия не имею! Меня это не интересует!» Последнюю фразу мать произнесла в запальчивости, со слезой, и Егорке сделалось совсем худо. Он почувствовал, что произошло нечто более страшное, чем старик за окном, и новая обстановка рядом с домом, и вода, и газ... Он схватил ложечку и начал поспешно есть сгущенное молоко из открытой банки. Будто подслащивал беду.

Мать проводила милиционера и пришла в кухню.

– Испугался, сынок? Ничего! Все бывает. Ты же мужчина у меня, – проговорила Ирина, глядя сына по голове. – Ты посиди здесь, я сейчас.

– Куда ты? – спросил Егорка.

– Я на одну минутку.

Ирина Михайловна поспешила в Егоркину комнату. Окно старика Николаи было при-
крыто. И слава Богу! Не до него. Ирина закрыла свое окно, мельком взглянув внутрь ком-
наты старого генерала, потом быстро привела в порядок постель сына. Вдруг представила мужа
ночью... Будто со стороны увидела картину: «У разбитого корыта». Так ему и надо! Пусть
поддержится. А что ему сделается? Вечером явится, как-нибудь узнает. Будет опять виновато
вздыхать, маяться...

Она, как это не раз уже бывало в последние годы, заглушила раздражением подкрадывав-
шуюся жалость и перевела мысли на другое. Как быть с Егором? Водить его в садик на улицу
Кооперации далеко. А здесь как? Но скажут ведь, помогут... Не должны бросить в беде.

Имелся и маленький плюс в этом перемещении: на работу теперь ездить не надо. Ирина
Михайловна служила в канцелярии военного училища, расположенного неподалеку от Туч-
кова, то есть там, где стоял теперь дом, если верить генералу Николаи. Высшего образования
Ирина в свое время не получила, ушла из финансово-экономического, с третьего курса... «Все
из-за него!» – мелькнуло в мыслях.

Накинув плащ и платок, Ирина выскочила на лестничную площадку, где тут же столкну-
лась с Саррой Моисеевной.

– У вас тоже? – обратилась к ней старуха.

– Что?

– Нет воды, нет газа, нет света... – скорбно перечислила та.

– Естественно, – пожала плечами Ирина и проскользнула мимо, слыша, как Сарра Мои-
сеевна горестно и недоуменно бормочет вслед: «У всех одно и то же! Одно и то же!».

Милиции на этажах поубавилось. Остались лишь дежурные на лестничных площадках –
вежливые лейтенанты, пытавшиеся по мере сил погасить беспокойство несчастных коопера-
торов.

Жильцы потерянно слонялись по лестнице, собирались группками, обменивались мнe-
ниями. Паники уже не было, ее сменило уныние.

Ирине удалось узнать, что инженерные службы уже тянут к потерянному дому времянки
электрических кабелей, водопровода и газа. Вопрос с канализацией пока оставался открытым.

– Как в блокаду! – весело приветствовал Ирину Светозар Петрович, бодро поднимав-
шийся к себе на этаж с чайником, наполненным водой.

– Где вы воду брали? – спросила она.

– В соседнем доме.

Ирина вдруг подумала, что давно не видела в своем доме такого единения людей, участия
и предупредительности. Раньше едва здоровались в лифте, а сегодня прямо как родные...

Она спустилась до четвертого этажа, где какой-то маленький и уверенный кооператор разъяснял собравшимся вокруг него женщинам:

– Если кто в отъезде, встретят и дадут новый адрес. Родственникам и знакомым пока не сообщат. До особого распоряжения. И нам нужно молчать.

– Как же? – недоуменно спросила одна из слушательниц. – У меня бабка в понедельник должна прийти, дочка больная, а мне на работу...

– Все будет сделано, – успокоил ее маленький. – Нуждающимся вызовут из «Невских зорь», устроят в садик. Но посторонние знать не должны, это дело государственное!

Женщины притихли, понимая, что государственное дело – это вам не хухры-мухры.

– А скажите, – начала другая, – у меня сестра должна завтра приехать. Я телеграмму получила.

– Я же сказал: доступ в дом получают только прописанные и зарегистрированные при обходе. Остальным наш адрес знать ни к чему. А про сестру нужно заявить. Ее встретят, разъяснят.

Ирина пошла наверх, по пути соображая: муж прописан, но, по всей видимости, не зарегистрирован. Она же сама его не зарегистрировала! Значит, ему не сообщат, где они. Ирину обуяло сомнение, но лишь на секунду: «Пускай! Так ему и надо! Егорка все равно его неделями не видит, а уж я... Перебьемся!»

Мимо Ирины вниз проследовали два милиционера, сопровождавшие элегантного встревоженного человека лет сорока.

– Неужели и жене сообщите? – вдруг обратился он к милиционерскому лейтенанту, останавливаясь.

– Вам, гражданин Зеленцов, не о жене надо думать, – спокойно отвечал лейтенант. – Вы важные бумаги выкинули на улицу. Жена простит, а начальство...

Мужчина кинул голову на грудь и пошел дальше.

«Жена простит... А вот как не простит!» – мстительно подумала Ирина.

Она вернулась домой, снова приласкала Егорку.

– Одевайся, сынок. Пойдем гулять. Я все узнала. Ничего страшного нет, будем жить здесь. Так надо, – значительно сказала она.

– А где папа? – хмуро спросил Егор.

– Папа? Он уехал. У него срочная командировка.

– А когда приедет?

– Не скоро... Да мы и сами с усами! Разве нам плохо вдвоем?

– Хорошо... – неуверенно протянул Егорка.

Ирина бодрилась. Она будто хотела оттянуть окончательное решение, зарыться с головой в мелкие хлопоты, благо их сегодня было достаточно. Как вдруг с полной ясностью пришла мысль: все уже решено.

Она поняла это по тому, как в одно мгновение сцепились между собою события и раздумья последнего времени: поздние приходы домой мужа – ах, какой мерзкий запах исходил от него – винный перегар и компактная пудра; ночное путешествие дома, сорвавшее их с Егоркой с насиженного места, – это знак! не иначе, надо что-то решать; регистрация жильцов; пепел старых писем на металлическом подносе с чеканкой...

Все это колебалось, дрожало в ее памяти, точно маленькие магнитики, которые неуверенно ищут друг друга, но внезапно прилипают один к одному – получается цепь.

Вырвавшееся у нее в разговоре с милиционерами «не проживает» с жалобой на мужа еще не было результатом обдуманного решения. Вылились раздражение, обида и мечта о свободе. На самом же деле помыслить не могла, чтобы Евгений сегодня же вечером, на худой конец – завтра не появился как огурчик. Но теперь Ирина поняла, что самому, без ее помощи, мужу

трудно будет найти улетевший дом. Что-то усмехнулось в ее душе, выглянула откуда-то острая мордочка злорадства: накося выкуси!

И вот последняя капля: «Папа уехал. Срочная командировка». И никаких гвоздей.

Ирина перевела дух. Магнетики сцепились – не разорвать. Она почти физически ощутила, как обрушивается с ее плеч страшная тяжесть... гора свалилась, верно говорят! Наконец свободна! Все как нельзя более кстати: никаких ссор, никакой разводной тягомотины – улетели от него, и всё!

А магнетики продолжали сцепляться. Ирина знала за собою такое свойство: мысли и чувства долго бродят внутри, примериваются друг к другу, пока сразу, как сегодня, не выстраиваются в мгновенное решение. И тогда в дело вступает железная логика.

«Мы улетели, – внятно сказала она себе. – Мы хотим жить с Егором одни. Значит, мы не хотим, чтобы он нас нашел и все началось сначала. Следовательно, надо оборвать нити, которые еще не оборваны: вернуть ему вещи и выписать Егорку из прежнего детсада». С глаз долой, из сердца вон!

– У нас есть такая поговорка, милорд.

– И получается?

Детский сад на улице Кооперации был пока единственным официальным местом, которое мог бы использовать блудный муж, если бы захотел встретиться со своею семьею. Даже если переводить Егорку в другой садик, туда следовало бы явиться за справками, а Евгений не дурак, может подкараулить. Значит, нужно торопиться!

Ирина окинула взглядом комнату, мысленно отмечая ниточки: семейную фотографию с годовалым Егоркой (Евгений Викторович художав, похож на Жана Луи Барро); книги по архитектуре старого Петербурга (Демилле поклонялся архитектурной классике, в особенности Карлу Росси); из-под дивана торчат шлепанцы мужа, на стуле висит его домашняя фуфайка...

– Егор, ступай приберись у себя в игрушках! – скомандовала мать, – отсылая сына в другую комнату.

Егорка понуро поплелся в детскую.

Ирина, не мешкая, стянула с платяного шкафа огромный чемодан, подаренный когда-то на свадьбу Екатериной Ивановной – бабушкин чемодан с латунными накладками и замками, – и опрокинула его содержимое на диван. Там были старые тряпки, шерсть, лоскуты...

Действуя проворно, но аккуратно, она принялась складывать в чемодан вещи мужа. В кармашек на внутренней стороне крышки вложила документы. Поколебавшись, сунула в паспорт двадцать пять рублей – разделила наличный капитал почти поровну, ибо в шкатулке, где испокон веку складывались деньги, обнаружилось пятьдесят два рубля. Ничего, до полочки доживем! Ирина изумилась собственной нечаянной предусмотрительности, которая заключалась в том, что месяц назад она сменила место службы, соблазнившись более высокой зарплатой в военном училище. Отдаленная мысль о том, что в случае развода с Евгением это может иметь значение, уже тогда возникала у нее, а отношения в семье последнее время были настолько натянуты, что Ирина сочла возможным даже не сказать мужу о перемене работы.

Следовательно, он может искать ее лишь на прежнем месте, в строительно-монтажном управлении, но и там ему не скажут, ибо уволилась она по собственному желанию, а новое место работы не сообщила никому. Ирина была по натуре довольна замкнута.

Что ж, и в этом можно усмотреть перст судьбы...

Ирина сняла со стены фотографию. Положить в чемодан? Оставить?.. Если положить, то муж воспримет это как укор, а может быть, намек на желаемое возвращение. Но оставить... Нет! Рвать так рвать!

Она быстрым движением разорвала фотографию надвое, потом еще... Обрывки бросила на подносик, в пепел. Оттуда, присыпанный черными хлопьями, вдруг страшно глянул на нее Егоркин глаз.

Ирина склонилась над распахнутым чемоданом, заплакала.

Вещи ее мужа, пахнущие его потом и чужой компактной пудрой, лежали перед нею, как останки.

– Мама...

Ирина поспешно утерла слезы. На пороге стоял Егорка с игрушечным паровозом в руках. Промелькнуло воспоминание: они с Евгением покупают этот паровоз в ДЛТ года полтора назад, перед днем рождения Егорки... Было хорошее, настоящее! Что говорить!

Она поспешила к сыну, желая отвлечь его от разверстого чемодана с вещами.

– Что? Что случилось?

– Колесо отломалось, – сообщил Егорка, показывая паровоз.

– Папа почи... – сорвалось у нее, но она осеклась, схватила паровоз, приговаривая: – Ну где же это колесо? Сейчас мы его приладим!

Вдруг откуда-то сбоку прилетел приятный бархатный голос:

– Ирина Михайловна? Вы дома?

Мать с сыном поспешили на зов и увидели генерала Николаи, который стоял у своего открытого окна в костюме и при галстуке. Николаи делал знаки, чтобы Ирина открыла окно.

Она распахнула створки, легким движением поправила прическу.

– Вы уж не обессудьте старика. У вас же, как я понимаю, сегодня разруха... Вот я себе и позволил...

С этими словами Григорий Степанович поставил на подоконник полиэтиленовый пакет, из которого торчала красная крышка термоса.

– Здесь кофе, бутерброды. Окажите честь...

– Спасибо. Ну зачем же... – робко запротестовала Ирина.

– Благодарить будете после. Берите.

– Но как?

– Все предусмотрено, – улыбнулся генерал.

В руках у него появилась длинная палка с крюком на конце, предназначенная для задерживания штор. Григорий Степанович повесил пакет на крюк и протянул его к окну Ирины.

Ирина, рассмеявшись, сняла пакет с крюка.

– Видите, как просто! Нет, положительно я нахожу в вашем прибытии нечто в высшей степени приятное. Для себя, разумеется, – сказал генерал.

Ирина, не переставая благодарить, вынула из пакета термос и завернутые в фольгу бутерброды.

– Приятного аппетита, – Григорий Степанович слегка поклонился и стал закрывать окно.

– А пакет? Термос?..

– Пустяки, – отмахнулся он. – Мы ведь теперь соседи.

Ирина и Егор с аппетитом позавтракали, и мать велела Егорке одеваться, а сама пошла упаковывать чемодан. Она закрыла его на замки, не забыв уложить в отдельную сумку чертежные принадлежности и книги по архитектуре, затем кинула взгляд на обрывки фотографии. Егоркин глаз по-прежнему пугал ее. Ирина собрала клочки, пачкая пальцы в саже, и, недолго думая, сунула на книжную полку между томами сочинений Тургенева.

Она кое-как обтерла пальцы платком и сказала уже одетому Егору:

– Присядем на дорогу.

Они вдвоем уселись на чемодан, причем Егорка сделал это так покорно, будто понимал, насколько серьезно прощание.

– Вот и все, – сказала мать, поднимаясь.

...Постовые на этажах провожали взглядами молодую женщину в синтетической куртке и в брюках, которая тащила в одной руке огромный и с виду тяжелый чемодан, а в другой – набитую сумку. За ручку чемодана, пытаясь помочь, держался мальчик лет шести с серьезным

лицом. Инструкций на этот счет, если жильцы станут покидать дом, пока выработано не было. Все же один из лейтенантов счел нужным спросить:

- Вы, гражданочка, куда направляетесь?
- Вещи несусь в химчистку, – не моргнув, ответила Ирина.
- Лейтенант с сомнением взглянул на чемодан.
- Вы уж там осторожнее. Согласно предписанию.
- Знаю, знаю! – с готовностью кивнула она.

Трамвай № 40 повез мать с сыном по бывшему Гесслеровскому, ныне Чкаловскому проспекту, пересек Карповку и, миновав Каменный остров, резво побежал к новостройкам северной части города.

- Куда мы едем? – спросил Егор.
- К бабушке Анастасии.
- А Санька дома?
- Не знаю. Наверное, уже пришел из школы.

Ирина Михайловна с большим трудом дотащила чемодан до дверей квартиры Демилле, набралась духу и позвонила. Она волновалась и от волнения старалась придать лицу равнодушное выражение. Вдруг Евгений здесь. Что тогда делать? Но чутье подсказывало – его там нет.

Дверь открыла Любаша.

– Господи, Ирка! Откуда? – ахнула она. – Проходи, проходи! Егор, раздевайся!.. А это что такое? – спросила она, указывая на чемодан.

– Спрячь его куда-нибудь побыстрей. Потом скажу, – почти не разжимая губ, приказала Ирина.

Люба послушно унесла чемодан в свою комнату, где задвинула под кровать.

– Знаешь, Женька только что... – начала она, вновь появляясь в прихожей, но Ирина поспешно перебила ее:

- Потом, потом!.. Егор, иди к детям. Твои дома? – спросила она Любашу.
- Дома, где ж им быть, – улыбнулась та. – Клубки мотают.

Ирина, скинув куртку, проводила Егора в детскую, где интернациональные Любашины дети действительно сматывали шерсть в клубки. Николь работала одна, моток был надет на спинку стула, а Шандор с Хуаном образовали пару. Хуанчик вытянул вперед руки с растопыренными пальцами, на которых висела шерсть. Шандор деловито сматывал ее в клубок с рук брата.

Любаша и бабушка Анастасия иногда подрабатывали вязанием.

– Егор пришел! – обрадовалась Николь. – Сейчас будешь мне помогать.

Она приспособила Егорку в помощь, а Ирина и Любаша уединились в кабинете деда.

– В общем, так... – начала Ирина.

– Слушай! – тараща глаза, перебила невестку Люба. – Женька только недавно ушел. На нем лица нет. Что случилось? Это правда?

– Что? – спокойно произнесла Ирина.

– Ну дом! Дом-то ваш тютю! Куда он делся? Ой, расскажи, расскажи! Как хорошо, что ты пришла! Я так волновалась. Мама ничего еще не знает, – тараторила Любаша.

– И хорошо.

Ирина хмуро, не глядя на золовку, принялась рассказывать. Ничего о перелете дома, утренней суматохе, милицейских протоколах она не сказала, а сообщила, что приняла последнее решение, с Женей жить больше не может, ни в чем винить его не хочет, но чемодан с вещами принесла. О чем просит при удобном случае ему передать.

Любаша кивала, сочувствуя. Характер у нее был такой – сочувствующий тому, с кем в данную минуту говорит.

– Ой, я тебя понимаю, понимаю! Женька никак перебеситься не может, взрослый мужик...

– Дело не в этом, – покачала головой Ирина.

– Как не в этом! В этом!.. Ну а где же вы теперь живете?

– А вот этого я тебе сказать не могу, – строго произнесла Ирина.

Любаша опешила.

– Почему?

– Нельзя нам, – со значением произнесла Ирина.

– А-а... Понимаю... – протянула Люба и прикрыла ладонью рот, хотя убей меня бог, милорд, если что-нибудь она понимала.

– Так что же ему сказать? – совсем растерялась Люба.

– Вот то и скажи, что я сказала. Больше ничего. Он свободен.

Последние слова получились против воли Ирины Михайловны чуть-чуть напыщенными. «Он свободен!» Ишь ты, поди ж ты!

Любаша вздохнула, подперла голову кулачком, задумалась. Сидели обе женщины у письменного стола деда – Люба на стуле, а Ирина в кресле. Ирина скользнула взглядом по столу, нашла под стеклом фотографию. Вот она, на месте. Пускай смотрит!..

Виктор Евгеньевич Демилле глядел умным печальным взглядом с траурного портрета.

Поболтали еще о разных разностях. Любаша была в бабку Екатерину Ивановну – легко горевала, легко радовалась. И сейчас, будто забыв о несчастье брата и ужасном происшествии, она, смеясь, принялась рассказывать Ирине о новом своем знакомом – Ирина, разумеется, уже заметила Любашин живот, но спросить не посмела. Знакомый был младше Любы на пять лет, узбек, аспирант.

– Ну ты даешь, – покачала головой Ирина. – Еще, значит, одного?

– А что делать? Рождаемость падает, – серьезно, даже озабоченно ответила Люба.

Ирина поджала губы. Разговор об интимных вещах казался ей неуместным. Люба поняла, перевела разговор на другое. Хорошо, что нет бабушки Анастасии, думала невестка. Та бы все выпытала, не отпустила.

Из детской, где мотали шерсть, доносился все возрастающий шум. Люба не реагировала. Шум достиг опасной силы.

– Что они там делают? – не выдержала Ирина.

– Пойдем посмотрим, – пожала плечами Любаша.

В детской они застали следующую картину. Посреди комнате стоял черноволосый Хуанчик, с ног до головы замотанный в белую шерсть. Он был как шелковичный кокон. Из кокона выглядывали черные восторженные глаза. Николь, Шандор и Егор бегали вокруг Хуанчика с клубками шерсти в руках, заматывая его еще больше.

– Жарко, – проговорил маленький мексиканец или колумбиец.

– А ну прекратить! – закричала Любаша привычно, без зла. Дети не обращали внимания.

Ирина баловство прекратила, отобрала клубки. Они с Любой принялись освобождать малыша. Тот вертелся перед ними, как веретено, пока они сматывали с него шерсть.

– А у нас был дядя Женья, – сообщила вдруг Николь загадочно.

– Я знаю, – коротко отвечала Ирина.

Егорка посмотрел на мать, но ничего не сказал.

Когда прощались с семейством Демилле, Любаша шепнула:

– Матери-то что сказать?

– Говори, что хочешь, – пожала плечами Ирина.

Они с Егоркой вышли на улицу – свободные, без чемодана, с одной пустой сумкой (архитектурный инструмент переложили в ящик дедовского стола) и направились пешком к месту, где вчера стоял их дом.

Через полчаса они пришли к ограждавшему фундамент забору. Постояли поодаль, посмотрели.

Егор ничего не спрашивал.

Собственно, дело у них было в детском саду, куда ходил Егорка. Пока Егор прогуливался по деревянному крокодилу и лазал в бетонную трубу, Ирина Михайловна зашла в садик. Там она достала из Егоркиного шкафчика и сунула в сумку детсадовский костюм сына и тапочки, а также написала заявление, в котором отказывалась от места. Листок с заявлением Ирина оставила сторожу Косте Неволяеву. Костя, взглянув на листок, спросил:

– Вы, стало быть, из этого улетевшего дома?

– А вы откуда знаете?

– Ну вот же адрес.

– Нет, я не про то. Откуда знаете, что он улетел?

– Да я сам видел, – улыбнулся Костя. – Красиво летел... Стало быть, вы приземлились. И где?

– У тебя на бороде! – выпалила вдруг Ирина и рассмеялась, как девочка. Сторож был больно смешной – по виду мальчишка, но с рыжей бородой. Само вырвалось забытое с детства выражение.

Костя не обиделся, сложил заявление и сунул его в шкафчик Егорки, на котором была наклеена бумажка с надписью «Егор Нестеров».

– Прощайте, – сказала Ирина.

– Стало быть, покедова, – солидно кивнул сторож.

Вернулись домой усталые. Дома ждала радость: дали свет и воду.

Никогда, кажется, с таким удовольствием не умывались. Ирина наконец отмыла руки от сажи. Удивилась, что не сделала этого у Демилле. Потом подумала – правильно. Этим мытьем холодной водой под краном будто смыла с себя прошлое.

В первую ночь на новом месте спала она хорошо. Когда укладывала Егорку, старик Николаи из своей комнаты приветственно помахал ей рукой. Был он снова в красном халате и сидел в кресле-качалке, перед телевизором, наблюдая программу «Время».

Снов в ту ночь Ирины Михайловны не видела.

Глава 10. Майор Рыскаль

С подступом десятым «О слухах» и отступом пятым «О Зеленцове»

– Вот скажите, милорд, такую вещь... Представьте себе, что у вас в Лондоне, в ваше время или несколько позже, произошел такой случай. Многоэтажный дом, заселенный вашими соотечественниками, внезапно снялся с насиженного места где-нибудь в Ист-Энде и перелетел в центр города. Допустим, в Сити.

– Что ему делать в Сити? Это деловая часть Лондона, как вам, должно быть, известно.

– И бог с нею. Меня интересует другое. Каким образом рядовые лондонцы узнали бы об этом происшествии?

– Таким же, как обо всех других. В тот же час, как дом приземлился, на этом месте оказался бы по крайней мере один из репортеров «Таймс» – репортеры связаны с полицией. В утренний выпуск эта новость, пожалуй, попасть бы не успела, но в вечерних газетах, будьте уверены, она заняла бы первые полосы. Уж они бы постарались, эти газетчики!

– Я так и думал, мистер Стерн. Но оставим газетчиков в покое – в конце концов, такая у них работа. Меня интересует способ оповещения. Разница национальных обычаев между нами столь велика, что у нас работают совершенно иные механизмы.

Вы не поверите, но я первый пишу о случившемся, несмотря на то что с момента приземления дома на Безымянной прошло уже несколько месяцев.

– Вы шутите. Неужели никому не интересно?

– Еще как, милорд! Но у нас другие традиции. Посему, смею вас уверить, ни один из журналистов ленинградских газет не посетил Безымянную ни в субботу, когда на этажах шла разъяснительная работа, ни в воскресенье, когда кооператоры собрались на общее собрание (я еще об этом расскажу), ни позднее...

– Как же об этом сообщили жителям города?

– А никак не сообщили.

– Значит, никому, исключая кооператоров и жителей Безымянной, до сих пор не известно, что многоэтажный дом... Ну, в общем, все, о чем вы рассказали?

– Что вы! Известно... Известно даже больше, то есть по-другому и совсем не так. А все потому, что перелет дома не относится, по нашим понятиям, к разряду событий, о которых следует знать рядовому читателю газет.

Вот если бы дом взлетел действительно в Лондоне, то мы узнали бы об этом очень скоро. Не исключено, что к месту события были бы направлены специальные корреспонденты, а уж постоянные представители нашей прессы в Великобритании наверняка передали бы сообщение без промедления.

– В чем же дело? Почему такая разница?

– Мы против нездоровой сенсационности, милорд. Новости у нас делятся на два класса – нужные читателю и ненужные, однако критерий отбора неизвестен. То есть он интуитивно понятен нашим читателям; у них глаза полезли бы на лоб, если бы газеты сообщили о бракосочетании политического деятеля, новой системе вооружения нашей армии, не выпущенном в прокат фильме и многом другом. В то же время никого не удивляет, что мы полностью в курсе событий каждой посевной или уборочной кампании, знаем все о заводах и фабриках, планах и перспективах.

Каждое событие рождается на свет с невидимой пометкой: об этом знать нужно, об этом – нет. Вот и перелет нашего дома сразу же попал в разряд фактов, не достойных упоминания.

Причин несколько. Возможно, сработала самая примитивная логика. Если узнают, что дома способны летать, то завтра же в воздух поднимется пол-Ленинграда, что может создать определенные неудобства.

Может быть, отпугивала необъяснимость явления. Сродни тому, как нечасто и противоречиво пишут у нас о тех же НЛО, биополях и прочем. Полагается, описав явление, тут же сообщить о его причине. Газета не может себе позволить недоуменно чесать в затылке: почему? отчего? ничего не понимаем!

Конечно же, опасались паники и распространения слухов. Но тем не менее слухи все же распространились, причем абсурдность их намного превышала уровень, который мог бы возникнуть при официальном сообщении.

Дело в том, что природа не терпит пустоты, милорд.

– Я знаю.

– И те факты, которые ускользают от наших газетчиков, упорно муссируются в виде слухов. Им верят больше, чем газетам.

Слухи о феномене вознесения дома, странным образом смешанные со слухами о запуске на орбиту пивного ларька, начали циркулировать по городу немедля, то есть утром в субботу, нарастали в течение трех дней, затем стабилизировались на какой-то отметке и просуществовали так с месяц, после чего медленно, но верно пошли на убыль.

Первым источником слухов стал Евгений Викторович через Бориса Каретникова. Дальше считать уже затруднительно, ибо тоненькие струйки слухов в виде прямых свидетельств (чаще всего – ложных), анекдотов, предположений, намеков и даже красноречивых умолчаний потекли в массы и от немногочисленных очевидцев вроде Матрены и пьяницы на Каменном, и от старожилов Безымянной, и от кооператоров, и – увы! – от сотрудников милиции, проводивших утреннюю операцию, несмотря на то что и те, и другие, и третьи были предупреждены о неразглашении.

Вечером в субботу подключились «голоса», которые подлили масла в огонь...

– Какие голоса?

– Институт слухов у нас во многом поддерживается так называемыми «голосами», то есть западными радиостанциями, ведущими передачи на русском языке. Несмотря на большую удаленность от места события, они сообщают о случившемся очень быстро, но временами крайне неточно.

«Голоса» передали в эфир, что, по имеющимся у них сведениям из неофициальных источников, минувшей ночью в Ленинграде по требованию Министерства обороны была произведена срочная эвакуация одного из жилых домов, сам дом снесен, а место расчищено той же ночью двумя полками войск внутренней службы.

В результате уже в воскресенье по городу ходили слухи следующего содержания:

1. Какой-то дом, в котором был пивной склад, взлетел на воздух из-за взорвавшихся бочек и отброшен далеко, в район Парголово. Там и лежит.

2. Над Ленинградом зарегистрирован НЛО, битком набитый пришельцами. Пришельцы похожи на людей.

3. Вчера ночью состоялось большое милицейское учение. Отрабатывали захват самолета с террористами и заложниками. Вместо самолета захватили один дом, где все жильцы были заложниками.

4. На Петроградской стороне случилось знамение: ночью сделалось сияние, и ангелы с серыми крыльями летали по Безымянной.

5. Строительная техника достигла невиданного развития. За одну ночь построили девятиэтажный дом где-то в Купчине... Нет, не в Купчине, а на Гражданке!.. Или на Пороховых... Короче, в центре.

6. Популярная певица Алла Пугачева вышла замуж.

7. Мощный смерч, пришедший с Атлантики, поднял в воздух универсальный магазин в Выборге, протащил его до Ленинграда, а там обрушил дождем промышленных и продовольственных товаров на Каменный остров.

8. Обнаруженный на Гражданке пливун – на самом деле вовсе не пливун, а месторождение никелевых руд, необходимых оборонной промышленности.

9. С 1 июля повысят цены на шерсть, меха, серебро и водку.

10. Девятиэтажный дом со всеми жильцами ночью перелетел на Васильевский остров, где плавно опустился на 7-й линии.

И так далее, и тому подобное.

Как видим, если отбросить явно провокационный слух № 9, а также совершенно дурацкий слух № 6, то остальные в той или иной степени имеют касательство к совершившемуся – но какое далекое!

Даже слух № 10, наиболее близкий к истине, за исключением адреса прибытия, выглядел тем не менее совершенно неправдоподобно. Смерч, строительство, пливун, взрыв пива – чего только не нагородили! Старались объяснить. А объяснять нечего – нужно извлекать выводы.

Итак, вот еще один пример системы, на этот раз информационной. Для города она была внутренней, для нас с вами, милорд, внешней, а для майора Игоря Сергеевича Рыскаля – умоглядной.

Он зрил ее своим умом.

Майору милиции Рыскалю выпал жизненный шанс. Шанс этот буквально свалился с небес в виде девятиэтажного дома, приземлившегося в неподобающем месте. Майор, как и многие в ту ночь, был разбужен телефонным звонком с приказом срочно прибыть в Управление. Одеваясь по-военному быстро и четко, Рыскаль одну за другой рассматривал и отметал версии. За последние десять лет службы это был первый ночной вызов.

Майор Рыскаль не занимался поимкой уголовников, не расследовал сложные дела о хищениях социалистической собственности и тем более не отлавливал на улицах пьяниц с последующей доставкой их в вытрезвитель. Специальностью Рыскаля была организация общественного порядка в случаях массового скопления людей. Он был непревзойденным дирижером толп во время демонстраций, футбольных и хоккейных матчей, массовых гуляний, выступлений популярных артистов и коллективов, похорон выдающихся людей. Никто лучше Игоря Сергеевича не умел расставить цепи по пути следования толп, рассеять лавину людей на мелкие ручейки и струйки, чтобы не возникло давки и паники. В условиях огромного города это была неоценимая способность: учесть тупики и закоулки, проходные дворы, проломы в заборах, по которым неорганизованная масса так и норовит прорваться к месту происшествия; перекрыть подъезды, отвести в сторону городской транспорт с таким расчетом, чтобы пешеходы, трамваи, автомобили двигались с точностью часового механизма... Игорь Сергеевич был в этих делах большим мастером.

Когда-то в его распоряжении имелись эскадроны конных милиционеров; Рыскаль чувствовал себя полководцем, расставляя конников на самых ответственных участках – при входе в метро, у турникетов стадиона. Вот уже тридцать лет ему верно служила старая карта города, висевшая в его кабинете и буквально изрытая следами булавочных уколов флажков и фишек, коими майор отмечал устанавливаемые ограждения и цепи.

И хотя начальство ценило Игоря Сергеевича, непременно назначая его пастырем митингов и митингов, в звании он продвигался медленно. Негласно считалось, что работа Рыскаля хотя и необходима, но все же не так опасна и трудна, как деятельность угрозыска и даже ГАИ. Отчасти такое мнение создал сам Игорь Сергеевич благодаря безукоризненной точности и почти полному отсутствию ЧП во время массовых мероприятий. Парадокс: мастер своего дела оказывался в тени именно из-за мастерства, с которым проделывал свою работу. Обремененный взысканиями коллега мог иной раз обойти майора на служебной лестнице по той лишь

причине, что вдруг ни с того ни с сего удачно проводил какое-нибудь дело. На фоне провалов прошлого оно, естественно, выглядело бриллиантом старания и умения, а значит, вызвало к поощрению. Ничего подобного у Рыскаля не наблюдалось. Все порученные ему дела он проводил на одинаково высоком уровне, отчего к этому просто-напросто привыкли, считая майора добросовестным служакой, который звезд с неба не хватает.

Он и не хватал, скромный был человек, а ему не давали. Видимо, по забывчивости. Посему в душе Рыскаля накапливалась усталая обида на несправедливость. Его сверстники и однокашники (а майор мог уже идти на пенсию по возрасту и выслуге лет) дослужились до генеральских чинов, возглавляли крупные Управления в ряде городов, отличавшихся довольно-таки низким, на взгляд Рыскаля, уровнем общественного порядка. И все потому, что раз в пять лет раскрывали какое-нибудь громкое дело со стрельбой, трупами, автомобильными погонями... брр! Доведись такое Игорю Сергеевичу, он наверняка управился бы тихо-мирно, без помпы.

Последние годы майор обходился скромными средствами: не было уже видно конных милиционеров, огромные крытые грузовики лишь в редких случаях использовались для заграждения. Игорь Сергеевич настолько хорошо изучил маршруты людских потоков и психологию толпы, что ему не составляло никакого труда пресечь беспорядок в зародыше. Потому его дело стало выглядеть еще более мелким, чуть ли не элементарным. Но за ним стояло истинное мастерство.

И все же душа тосковала по большому делу. Последнее время толпа потеряла значительную часть своей опасности. То ли люди стали дисциплинированнее, то ли безукоризненно работали схемы Рыскаля, предназначенные отдельно для демонстраций, спортивных соревнований и салютов, то ли сами сборища утратили былую массовость. В мифической глубине времен терялись ужасы Ходынки, похорон Сталина или безобразий на стадионе, что на Петровском острове, во время одного давнего футбольного матча.

Давно уже ничего похожего не случалось.

Потому-то, бреясь в пятом часу утра у себя в ванной комнате, Рыскаль терялся в догадках. Трудно предположить, чтобы в столь ранний час произошло большое скопление людей... Облава? Прочесывание? Маловероятно!

– Неужто война? – в ужасе спросила заглянувшая в ванную жена Клава. Она тоже поднялась по тревоге.

– Типун тебе на язык, – укоризненно произнес майор, продолжая бриться. Он аккуратно доскоблил щеку и, видя, что жена не уходит, объяснил: – На войну по телефону не приглашают.

– А как? – вытаращила глаза Клава.

– Много будешь знать... – усмехнулся Рыскаль.

Игорь Сергеевич брызнул на лицо специальной пенки «после бритья», втер ее в щеки, требовательно взгляделся в зеркало. Оттуда смотрело молодое лицо без морщин, не изборожденное, как у многих, следами неумеренности. Твердый волевой подбородок, аккуратная стрижка. Майор тщательно причесал «воронье крыло» – прядь жестких черных волос, спадающую на лоб наподобие крыла, – благодаря ему, а также небольшой ладной фигуре Рыскаль имел в Управлении кличку Воронок. Это давало повод для каламбуров, вполне безобидных, когда майор выезжал куда-нибудь на машине ПМГ: «Воронок на „воронке“!»

– Погодите, но вы говорили – «помогайка»?

– Синонимов и тут у нас хватает, милорд.

Через час майор уже присутствовал на совещании, где узнал о ночном происшествии, а также о том, что ему поручается новая ответственная работа. Рыскаля назначили начальником группы, в обязанности которой входили организационные вопросы, связанные с перелетом дома: снабжение водой, электроэнергией, газом, учет проживающих и их регистрация, другие

бытовые проблемы, а главное – пресечение слухов, сокрытие нежелательных фактов от злых языков и досужих умов, которые, конечно же, постараются сделать из мухи слона.

Единственный вопрос, который не входил в компетенцию Рыскаля, был, так сказать, научный. Причинами перелета дома занимался полковник Коломийцев Федор Иванович, именно к нему стекалась та весьма скудная информация очевидцев, о которой я уже рассказывал. «Опять ставят науку над практикой!» – подумалось майору. Очевидно, он имел в виду разницу в званиях, поскольку других признаков предпочтения науки не существовало: группа Рыскаля была даже многочисленнее и имела те же права влияния на городские службы, что группа Коломийцева.

По существу, майор был назначен комендантом нашего дома, и это навело его на мысль, что назначение, весьма вероятно, относится к разряду предпенсионных. Однако размышлять было некогда. Требовались срочные меры. Игорь Сергеевич заперся у себя в кабинете для выработки стратегического плана, и через полчаса к дому на Безымянной уже спешили группы милицейских работников, имевшие четкие инструкции, то есть тот план, с которым мы уже знакомы.

Вскоре на улицу Кооперации прибыли строители с секциями забора, вызванные майором, и через два часа фундамент был огорожен. Рыскаль в это время связывался по телефону с городскими коммунальными службами – уговаривал, грозил, настаивал, уточнял сроки и возможности.

Старая карта ожила. Рыскаль черной фишкой обозначил фундамент на улице Кооперации и обнес его частоколом зеленых флажков. Красными маленькими фишечками Игорь Сергеевич нанес постовых: две на улице Кооперации, около десятка – на Безымянной. Трассу полета дома он обозначил черной нитью, протянув ее между фишками фундамента и самого дома (последняя фишка была желтого цвета). Тут же возникли на плане и ближайшие к Безымянной сети инженерных коммуникаций, от которых требовалось в срочном порядке сделать отводы. Рядышком с желтой и черной фишками появились другие – зеленые, обозначающие соседние дома на обеих улицах: детсад и три точечных дома на месте отлета и жилые дома на месте прибытия. Это были места скопления людей, могущих заинтересоваться случившимся. Надлежало дать им нужную информацию и предупредить о неразглашении.

Истосковавшись по творческому делу, Игорь Сергеевич отдался ему, как отдаются любви, – с упоением. В душе его играл духовой оркестр войск внутренней службы (пластинка с записями маршей и вальсов в исполнении этого оркестра была любимой пластинкой майора). Рыскаль мурлыкал марш лейб-гвардии Преображенского полка, а сам разноцветными нитями прокладывал электрические кабели и канализационные трубы вблизи Тучкова моста, перенося их на карту с планов, присланных из соответствующих Управлений горисполкома.

Стратегический кабинетный период длился недолго, после чего майор самолично выехал на «воронке» («Воронок на „воронке“») к месту исчезновения дома и проверил непроницаемость воздвигнутого забора. Вошедши внутрь ограждения, он осмотрел заваренные трубы канализации, газа и водопровода, оценил состояние затопленного подвала и, вполне удовлетворенный, самолично навесил амбарный замок на дверь в заборе. Ключ спрятал в карман.

По крайней мере в одном месте порядок был наведен. Майор оставил улицу Кооперации и поспешил к Безымянной, ибо место приземления не сулило ему легкости в наведении порядка.

Когда он обходил по ущельям наш девятиэтажный дом, марш внутри сам собою оборвался. Темные щели с узенькими полосками неба наверху никак не соответствовали браваурности музыки. Шаги майора и сопровождающих гулко отдавались в ущельях, отраженные высокими кирпичными стенами. Рыскаль не мог и предположить, насколько сильным может быть ощущение беспорядка от приставленных почти вплотную домов. «Позвонить в архитектурное управление, – подумал он. – Необходима перепланировка участка».

Однако легко сказать! Подъезды кооперативного дома выходили прямоком в щель – их не замажешь. Тут требуется капитальный ремонт... А вдруг дом опять взлетит? С этим тоже нужно считаться.

Затем Игорь Сергеевич посетил все четыре подъезда, наблюдая, как идет регистрация. Как раз в этот момент группа Коломийцева задерживала Клару Семеновну Завадовскую, которая успела посеять смуту на нескольких этажах громкими возгласами и плачем о пропавшем муже. Не добившись эффекта, она бросилась домой, нарядилась в лучшее платье, взбила прическу, навесила брошь и кинулась искать правды к начальству.

– Какому?

– Вероятно, в горисполком или еще куда. Четкого плана у бывшей артистки цирка не было, она просто знала: нужно к начальству. В таком праздничном виде ее и взяли люди полковника Коломийцева, направившие Клару Семеновну в машину.

– Ай да Федор Иванович... Профессор... – пробормотал Рыскаль, стараясь подавить в себе неприязнь к науке.

Самого Рыскаля причины перелета дома, а также физические силы, приводившие его в движение, интересовали не больше, чем причины первомайских демонстраций и способы производства фейерверков. И там, и тут его занимали последствия: общественные беспорядки, могущие возникнуть при массовом неорганизованном скоплении людей. Вот и здесь, лично ознакомившись с положением дел, он понял, каких усилий потребует от него новая работа. Поняв это, Игорь Сергеевич принял ответственное решение. А именно: он решил переселиться на жительство в потерянный дом.

Перспектива переселиться в неухоженную захламленную квартиру в первом этаже второго подъезда, служившую помещением Правления и бухгалтерии кооператива, отнюдь не привлекала майора. Его семья из четырех человек – жена Клава и две дочери, Наташа и Марина, – имела прекрасную трехкомнатную квартиру близ Таврического сада. Но лишь только Рыскаль представил себе, что будет для кооператоров приходящим начальником, пастырем на расстоянии, отрабатывающим от звонка до звонка... Нет! Это не дело! Майор был образцом долга и принципиальности. А так как поручение, выпавшее на его долю, по всему видать, было долговременным, то Рыскаль решил быть с народом. Клава, конечно, не обрадуется: первый этаж, темнота в окнах... Ремонт придется делать, посетители попрут без всяких приемных часов, но... майор решил твердо. Иначе получится чепуха. Все равно, что король станет жить за границей, лишь изредка навещаясь к своим подданным.

Рыскаль вернулся в Управление, прихватив с собою в машине председателя Правления кооператива инженера Вероятнова, бухгалтера и двух женщин, работавших дворниками.

Василий Тихонович Вероятнов, огромный сорокадвухлетний мужчина с румяным лицом и детскими голубыми глазами, внешне понравился Рыскалю. Однако дела в Правлении велись кое-как, да Вероятнов и не скрывал своей нелюбви к «бюрократии», как он выразился. Он с видимым облегчением уступил власть майору.

– Я имею в виду фактическую власть, милорд. Уже в субботу в кооперативе начало образовываться маленькое государство со сложной структурой управления. По виду это была республика с выборными органами власти, по сути же – монархия или диктатура, как вам больше нравится. Рыскаль стал единоличным правителем, в его руках сосредоточилась вся власть. У вас в Англии, кажется, есть поговорка: «Король царствует, но не управляет». Положение дел у нас складывалось как раз наоборот: «Король управляет, но предпочитает не царствовать». Рыскаль с самого начала решительно избегал почестей и демонстрации внешних атрибутов власти.

Первым его решением было назначить общее собрание кооператива, для чего Вероятнову поручалось снять актовый зал в ближайшей школе. Рыскаль снабдил его специальным мандатом, и инженер покинул Управление, радуясь, что не ему придется расхлебывать всю эту кашу.

Проверка финансов была отложена до более удобного случая, майор лишь затребовал необходимые документы у бухгалтера; дворникам Рыскаль указал на немытые окна и лестницы, неубранные баки с пищевыми отходами. Реакция двух подозрительно одинаковых женщин неопределенного возраста, служивших у нас дворниками (одутловатые лица, красные глаза, мешки под ними), была тоже одинакова. Обе тут же написали заявление об уходе по собственному желанию, на что майор совершенно резонно предложил им освободить служебную квартиру в третьем подъезде. Это их не остановило. Дворничихи удалились, поставив майора перед новой проблемой.

Между тем в кабинет к нему стали стекаться опросные листы. Группа помощников сверяла их с домовою книгой, обрабатывала и передавала майору готовые списки зарегистрированных жильцов с указанием места работы.

Надо сказать, что к тому времени в Управлении сама собой возникла рабочая терминология. Всех, кто летел вместе с домом, называли «летунами». Жителей соседних домов на улице Кооперации и Безымянной окрестили «соседями». Отсутствующих жильцов дома, среди которых был и Евгений Викторович, именовали «бегунами».

– Почему «бегунами»?

– А потому что они были «в бегах».

Летуны делились на прописанных и непрописанных, соседи – на провожающих и встречающих, бегуны – на зарегистрированных и незарегистрированных.

Если говорить обо мне, то я оказался бегуном зарегистрированным благодаря сержанту Сергееву, ибо был прописан, реально проживал (сержант это отметил), но отсутствовал по неизвестной причине. Хотя, в сущности, мне полагалось быть прописанным летуном.

Демилле попал в незарегистрированные бегуны, поскольку был прописан, но, по словам жены, реально не проживал. Таких, как он, в доме насчитывалось около двадцати человек. Но те-то истинно не проживали, а Демилле...

В разгар деятельности по составлению списков в кабинет майора зашел капитан из группы Коломийцева и бухнул на стол набитый чем-то портфель.

– Что это? – спросил Рыскаль недовольно.

– Непрописанный летун, товарищ майор, – доложил капитан, выкладывая перед Рыскалем листки протокола.

К категории непрописанных летунов относились, во-первых, гости квартиры № 116 – той самой, с балкона которой ночью выкидывали бутылки; во-вторых, три молодые супружеские пары, снимавшие однокомнатные квартиры без прописки; в-третьих, несколько постоянно живущих в доме членов семей кооператоров, по тем или иным причинам прописанных в других местах. И наконец, в-четвертых, гражданин Зеленцов.

Гостей из дома вежливо удалили, взяв подписку о неразглашении, остальных причислили к списку прописанных летунов. А вот гражданина Зеленцова задержали, поскольку он имел неосторожность выбросить из окна портфель с документами и бумагами для служебного пользования. Это навело полковника Коломийцева на мысль, что Зеленцов может быть причастен к угону дома, но, допросив его, Федор Иванович убедился в ошибке и сплавил Зеленцова майору.

И вот теперь портфель лежал на столе, а бледный, но надменный Зеленцов сидел на диванчике в коридоре перед дверью кабинета Рыскаля. Рядом находился старшина милиции.

Рыскаль ознакомился с протоколом.

История Валерия Павловича Зеленцова была довольно обычной.

Валерий Павлович являл собою пример человека с блестящей служебной карьерой. В свои тридцать семь лет он был заместителем директора крупнейшего в нашем городе научно-производственного объединения со штатом работающих в несколько десятков тысяч человек. НПО занималось выпуском металлоконструкций, каких – это не важно, мы не будем вдаваться в секреты обороны страны.

Примечательно, что Зеленцов к металлоконструкциям, а также к обороне страны никакого отношения не имел. В свое время он окончил финансово-экономический факультет – далеко без блеска. Получить диплом ему помогла общественная деятельность, которой Зеленцов начал заниматься еще в школе, а в институте продолжил, да с таким размахом, что временами забывал, на каком, собственно, курсе он учится. Если бы не вежливые напоминания деканата о том, что пора явиться на экзамен с зачеткой, то Зеленцов так и не вырвался бы из своей кипучей деятельности.

На экзамен, милорд, требовалось только явиться, не более.

Каких только общественных постов не занимал молодой Зеленцов! От необременительных, хотя и ответственных должностей председателя факультетского ДОСААФ или Красного Креста до секретаря комсомольской организации курса, а затем и факультета, члена партийного бюро и профорга. Мелкие обязанности вроде председателя общества охраны природы, делегата на многочисленные конференции, общественного инструктора райкома, комиссара студенческого строительного отряда и так далее, и тому подобное облепляли Зеленцова, как мухи липучку. Едва он успевал выступить с отчетом на слете ленинских стипендиатов (сами стипендиаты в это время прилежно учились и были в общем благодарны Зеленцову за то, что он прикрывает их своею грудью), только-только возлагал какой-то венок на чью-то могилу, чудом успевал слетать в Лондон для руководства группой учащихся, как перед ним уже маячили новые президиумы, съезды и фестивали. Зеленцов пыхтел, героически отшучивался на соборезнования, всем говорил значительно: надо!

И действительно было надо.

Такие люди, как Валерий Павлович, чрезвычайно полезны. Они позволяют огромному количеству специалистов спокойно работать и не думать о так называемой общественной работе. Они знают: есть Зеленцов, он функционирует. Если бы общественные нагрузки Зеленцова распределить равномерно, я боюсь, институт лишился бы десятка дипломированных специалистов.

При всем том Валерий Павлович отличался тем, что решительно ничего не делал ни на одном из занимаемых постов.

– Перестаньте меня дурачить! То – заменял десяток людей, то – ничего не делал! Я не понимаю!

– И никогда не поймете, милорд.

Между тем рабочий стиль Зеленцова был единственно возможным. Если бы Валерий Павлович хотя бы в одной из общественных сфер предпринял какие-либо реальные акции, то это неминуемо повлекло бы за собою и реальные трудности, а там, глядишь, и провал, ибо образование у него было небольшое, ум – невеликий, а работоспособность – средняя. Поэтому с блеском занимать все общественные посты можно было лишь при одном условии – ничего не делая.

– Но чем же он все-таки занимался? Эти фестивали... президиумы...

– Тем, чем и занимаются на фестивалях и в президиумах. У Валерия Павловича был лишь один талант, развитый, правда, в высшей степени. Он умел представлять.

Этот талант включал в себя несколько компонентов.

Во-первых, внешность Зеленцова была такова, что при взгляде на его статную фигуру и открытое лицо сами собой вылезали из памяти слова: «Передовой представитель нашей славной советской молодежи». Валерий Павлович не был ни красив, ни дурен, ни мал, ни велик, ни худ, ни толст. Не был он блондином, равно как и брюнетом. Он не был смугл или бледен, вял или резок, шумен или тих. В нем всего было в меру.

Иногда он позировал для плакатов на самые разнообразные темы. В его квартире на кухне шутки ради висели некоторые из них: «Храните деньги в сберегательной кассе!» (Зеленцов был изображен со сберкнижкой, протянутой к зрителю); «Наш ударный труд Нечерно-

земью!» (Зеленцов в строительной каске с мастерком); «Лет до ста расти нам без старости!» (Зеленцов в футболке, а рядом – могучая девушка зеленцовского типа); «Скажем войне – нет!» (Зеленцов бьет молотом по маленькому тщедушному поджигателю войны на кривых ножках, который держит в обеих руках по бомбе) – и еще несколько подобных.

Таким образом, внешность Зеленцова была самым Богом создана для плакатов и трибун.

Но еще лучше, во-вторых, были у него голос и вообще умение говорить. Валерий Павлович мог придать самой заурядной, штампованной фразе бездну искренности, взволнованности и оптимизма. Когда он выходил на трибуну, открывал рот и, точно солирующая флейта в оркестре, исторгал из себя первую фразу: «Мы, как и весь наш народ...» – ей-богу, хотелось плакать!

Зеленцов мог выступать в любую минуту, перед любой аудиторией, на любую тему. Фразы выкатывались из него, круглые и блестящие, как шарикоподшипники. Их не нужно было редактировать, тем более литовать. Они были залитованы еще до своего рождения.

– Простите, я снова не понимаю.

– Извините, милорд, я не хочу распространяться на эту тему, ибо данный текст тоже предстоит литовать, и, хотя наши фразы не менее круглы и блестящи, я боюсь, что они чем-то отличаются от зеленцовских.

И наконец, в-третьих, Зеленцов был мастером документа. Он, к примеру, мог таким образом сочинить отчет о проваленном или попросту неосуществленном мероприятии, что и проводить его не было никакой надобности. Все равно субботники и воскресники, рейды и кампании, почины и соревнования никогда не достигли бы в реальности того совершенства, какое мог придать им Зеленцов на бумаге. И пытаться не стоило! Это только испортило бы дело.

Зеленцов это понимал, потому из любви к чистому искусству сочинял сводки и доклады, намеренно не обращая внимания на реальные цифры и показатели. Искусство и жизнь – разные категории, это давно доказано философами, не так ли?

Таким образом, Валерий Павлович был в некотором роде совершенством. Легкий, как мыльный пузырь, он стремительно взлетал вверх и в настоящий момент находился на ступеньке замдиректора НПО с явным намерением перейти еще выше, в министерство.

Не стоит и говорить, что дома у Зеленцова был полный порядок. Перечисляю: жена, дочь, мебель, машина, музыка, книги. Одевался модно, но без пижонства. Пил умеренно. Делал физзарядку и уже подумывал о том, не пора ли заняться оздоровительным бегом. Однако пока не занимался.

И все же природе редко удается изваять полное совершенство. Имелся изъян и у Зеленцова. Прискорбно говорить об этом, милорд, но из песни слова не выкинешь. Валерий Павлович Зеленцов был бабник.

Как принято говорить, он не пропускал ни одной. Был из той распространенной породы бабников, которые любят и умеют пускать пыль в глаза. Зеленцов делал это без фанфаронства, он всегда выглядел деловым, никогда не опускался до влюбленности, тем более – до любви. Он как бы отрывал себя на часок-другой от государственных дел для свидания, ничего не обещающая партнерше и не обнадеживая. Как ни странно, это действовало неотразимо. Правда, контингент подруг, если можно так выразиться, был у Валерия Павловича вполне определенным. В молодости преобладали официантки шашлычных, продавщицы, кассирши, секретарши. По мере продвижения Зеленцова вверх по служебной лестнице круг любовниц тоже менялся. Теперь в нем присутствовали товароведы, начальницы отделов, врачи, многочисленные служащие общественных организаций. Попадались и дамы искусства: художницы, режиссеры телевидения, актрисы, но редко. Они были как бы пикантной приправой к деловым, прекрасно соблюдавшим условия игры партнершам.

Валерий Павлович не упускал случая похвалиться связями среди сильных мира сего, причем чаще всего говорил правду, лишь изредка блефовал. Он вводил в этот круг и любовниц,

используя их уже не по прямому назначению, а для деловых контактов. Постепенно у него образовалась разветвленная сеть адресов и должностей, обладательницы которых при случае могли усладить тело, но чаще оказывали иные услуги: что-то доставали, куда-то устраивали, кому-то помогали. Их и любовницами уже нельзя было назвать, милорд, в прямом смысле слова! Да и как разделить функции, если, бывало, Валерий Павлович подкатывал на своих «Жигулях» к директрисе колбасного магазина за бужениной, но в придачу к ней получал и кратковременное удовольствие здесь же, в кабинете.

В отличие от Демилле, который, особенно по молодости, влюблялся, вспыхивал, мучился угрызениями совести («У тебя же на лице все написано!» – говорила Ирина с горечью)... спешил, был неразборчив – мог влюбиться в молоденькую студенточку, а то в женщину лет на десять старше, жалел одиноких, разрывался, а в результате все портил – и дома, и у возлюбленной, – так вот, в отличие от нашего героя, Зеленцов действовал хладнокровно, четко и скрытно. Скрывать приходилось и от начальства, и от жены, ибо обнаруженная распущенность грозила крахом карьеры и семейной жизни. И он делал это исключительно профессионально, имея всегда убедительнейшее алиби, ни разу не пропустив из-за свидания очередного митинга или слета.

Конечно, и там, и там догадывались, иной раз знали достоверно, однако... предпочитали закрывать глаза. Даже на солнце есть пятна. Видели, что человек старается, что служба и семья для него выше любовных связей, а значит, не стоит ворошить грязное белье. И жена Зеленцова тоже так думала, привыкла думать так.

Внешнее приличие соблюдалось всегда, хотя за спиной Зеленцова ходили слухи и сплетни. И на них не обращали внимания, считая, что быстро растущий (в служебном смысле) человек всегда вызывает черную зависть. Тут ему такое могут пришить, что только держись!

Таким образом, изъян при ближайшем рассмотрении превращался в одно из достоинств Зеленцова, так что я, пожалуй, возьму назад свои слова и признаю, что в лице Валерия Павловича природе удалось вылепить полное совершенство, без малейшего изъяна.

Перечисленные достоинства, а еще паче служебное положение привели с годами к тому, что Валерий Павлович стал ощущать колоссальную уверенность в себе и несколько утратил бдительность. Он чувствовал: «еще немного, еще чуть-чуть» – и ему будет позволено все. Видимо, потому и произошла осечка, хотя и на этот раз Зеленцову не в чем было себя упрекать. Разве что в минутном малодушии, когда Зеленцов, узрев Каменный остров с высоты птичьего полета, спешно, в одних трусах нацарапал записку, сунул ее в партбилет и вытолкнул портфель в открытую форточку.

А дело было так. Как признался Зеленцов на допросе у полковника, в доме № 11 по улице Кооперации проживала его подруга, некто Инесса Аурина, латышка по происхождению, по специальности же – модельер мужской верхней одежды. Инесса занимала однокомнатную квартиру № 250 в четвертом подъезде и была – могу засвидетельствовать – первой красавицей нашего кооператива: элегантная блондинка с роскошными волосами, с королевской осанкой, надменная и недоступная... Демилле однажды попытался заговорить с ней – она отшила его тут же (Демилле был одет в отечественное), – ну а я уж и не пытался, куда нам!

Инесса конструировала верхнюю одежду для Зеленцова и других мужчин с положением. Не хочу бросать на нее тень, возможно, с другими клиентами ее связывали не такие тесные отношения, но с Валерием Павловичем было именно так: вот уже три года примерно раз в месяц Зеленцов проводил выходные дни в нашем доме, в квартире № 250, пользуясь одним и тем же испытанным приемом. Он говорил жене, что уезжает в Москву в командировку, и исчезал из дому в пятницу вечером, якобы спеша на «Стрелу» и имея в портфеле командировочные бумаги, пижаму, электробритву и проч. Билет же загодя брал на воскресный вечер, ибо командировка начиналась с понедельника, как у всех деловых людей. Жене врал про субботнюю коллегия министерства, и жена верила, впрочем... кто знает?

Таким образом, Валерий Павлович прибывал на улицу Кооперации в пятницу, в двенадцатом часу ночи, чтобы ровно через двое суток умчаться отсюда на такси к Московскому вокзалу.

Схема работала безотказно. У Инессы имелся телефон – редкость в нашем доме. У Демилле телефона не было, у меня тоже; Зеленцов ей его и поставил...

– Сам?!

– Помилуйте, милорд! Добился разрешения.

Но вот сдвинулось что-то в мировом порядке вещей, и Валерий Павлович обнаружил себя летящим в ночи над нашим прекрасным городом.

Почему он написал такую дурацкую записку и швырнул портфель с партбилетом в форточку – поди догадайся! Был в легком опьянении от коньяка и Инессы, в памяти всплыла только что услышанная в программе «Время» история с угоном пакистанского самолета... Испугался, одним словом. Подумал, что летит «туда». А так как «там» Валерию Павловичу делать было решительно нечего – с тем же партбилетом и документами для служебного пользования, он это понимал четко, – то и выбросил. Хотел было сам выпрыгнуть, да Инесса остановила. Впрочем, не хотел. Погорячился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.